

ИСТИННАЯ ЛУНА

ДЕНИС ПОЖИДАЕВ

Денис Пожидаев

Истинная Луна

«Автор»

2026

Пожидаев Д.

Истинная Луна / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

После событий «Ложной Луны» путь «Пилигрима» продолжается туда, где привычные законы больше не дают ответов. Впереди — пространство, которое словно наблюдает, помнит и ждёт. Каждое решение меняет больше, чем кажется, а граница между спасением и ловушкой становится почти неразличимой. «Истинная Луна» — напряжённая научная фантастика о выборе, доверии и попытке сохранить человеческое там, где сама реальность может оказаться чужой волей.

© Пожидаев Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Эхо Левиафана	6
Глава 2. Разрыв	12
Глава 3. Отсутствие шрамов	16
Глава 4. Ржавчина и неон	20
Глава 5. Симфония	23
Глава 6. Право сильного	26
Глава 7. Идеальная клетка	30
Глава 8. Код Левиафана	33
Глава 9. Танец на лезвии	36
Глава 10. Искусство боли	39
Глава 11. Цена свободы	42
Глава 12. Слепое пятно	45
Глава 13. Мёртвый эфир	48
Глава 14. Имитация покорности	51
Глава 15. Капля в океане	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Денис Пожидаев

Истинная Луна

Денис Пожидаев

ИСТИННАЯ ЛУНА

Цикл «Ложные небеса» · Книга вторая

Научно-фантастический роман

Глава 1. Эхо Левиафана

Сигнал приходил каждые одну и три десятых секунды, и Александр Вейн уже перестал отличать его от собственного сердца.

Он сидел в командирском кресле, не пристёгнутый, удерживаясь на месте только слабой тягой остаточной гравитации и привычкой держать спину прямо. «Пилигрим» дрейфовал носом вперёд, туда, откуда приходил ритм. Двигатели молчали. Реактор был заглушён. Свет миллионов чужих солнц заливал рубку сквозь панорамное стекло — холодный, спрессованный, без единой калории тепла в нём. В этом свете руки Вейна казались вырезанными из мела.

Минус семь по бортовому термометру. Цифра не менялась уже сорок минут. Это было плохо не потому, что становилось холоднее, а потому, что холоднее уже не становилось — тепло тела и остаточное тепло обшивки нашли равновесие с вакуумом, и это равновесие медленно сползало к нулю.

— Пик, — сказала Лира.

Она стояла у соседнего терминала, вцепившись обеими руками в остывший пластик. Голос был сухим, ободраным по краям. На экране перед ней ровную линию фонового шума прорезала вертикальная черта — четкая, как игла, — продержалась долю секунды и погасла.

— Вижу, — ответил Вейн.

Он видел. Он видел этот пик уже, наверное, две тысячи раз с тех пор, как они развернули корабль. Три недели назад та же сигнатура пришла к ним от мёртвого корпуса, вросшего в тело Сущности, — короткий зацикленный пакет данных на остаточной энергии. Тот корабль был мёртв сотни лет. А сигнал жил.

Теперь сигнал стал громче.

— Амплитуда растёт, — Лира постучала обломанным ногтем по краю графика. — За час — на двенадцать процентов. Мы приближаемся. Или он.

— Мы, — сказал Вейн. — У нас нет тяги. Двигаться может только тот, у кого есть чем.

Он не был уверен, что это правда. Но капитан обязан говорить то, что можно проверить.

Эстель Роан лежала у навигационного стола, зацепившись ногой за скобу, свернувшись так, чтобы терять как можно меньше тепла. Полчаса назад она перестала дрожать. Вейн знал, что это значит, и знал, что она знает. Дрожь — это работа. Когда тело отказывается от работы, оно начинает экономить на будущем, которого нет.

Но сейчас Эстель приподняла голову.

— Дай мне спектр несущей, — сказала она. — Полный. Не сводку. Сырьё.

— Ты еле дышишь, — сказал Вейн.

— Я замерзаю, а не тупею. Спектр.

Лира перебросила данные на её экран. Эстель подтянулась к столу — движения были скованными, как у марионетки на промёрзших нитях, — и вгляделась в столбцы цифр. Пар от её дыхания замерзал в воздухе крошечными кристаллами, и они сверкали в свете скопления, как алмазная пыль, оседая на клавиатуру, на её ресницы, на всё.

Вейн ждал. Он научился ждать её паузы. В первой части их жизни — той, что была до Сущности, — эта её медлительность бесила Лиру. Теперь она успокаивала. Пока Роан думает, значит, есть о чём думать.

— Это не пульсар, — сказала она наконец.

— Мы знаем.

— Нет, вы не поняли. — Она облизнула потрескавшиеся губы; язык двигался с трудом. — Я говорила «не пульсар», имея в виду «искусственный». Цифровая несущая, жёсткий ритм, никаких гармоник. Это я видела ещё вчера. Но я не смотрела внутрь ритма. А внутри...

Она замолчала. Свела брови. Вейн видел, как под кожей на её виске бьётся жилка — медленно, редко.

— Внутри есть вложенность, — сказала Эстель. — Пакет не плоский. Он упакован в структуру. Импульс, пауза, три импульса, пауза, ещё импульс... И это повторяется на трёх уровнях сразу. Одно вложено в другое, а то — в третье.

— Шифрование, — сказала Лира.

— Нет. — Эстель подняла на них глаза, и в этих глазах не было паники — было то самое детское, голое недоумение, которое Вейн видел у неё в самый первый день, когда она сказала слово «ДНК» и всё покатилося под откос. — Не шифрование. Грамматика. Это построено, как строится живое. Триплеты. Три и три и три. Кто бы это ни послал, он думает не двоичным кодом. Он думает основаниями.

В рубке стало очень тихо. Только вентиляция ещё работала — на последнем издыхании, три секунды выдоха, секунда тишины, — и стук крови в висках. Тук. Тук. Тук.

— То есть, — медленно сказал Вейн, — нас зовёт не машина.

— Я хочу сказать, — ответила Эстель, — что тот, кто нас зовёт, кодирует зов так же, как Сущность кодировала нас. Через биологию. — Она опустила голову обратно на скрещенные руки. — Я хочу сказать, капитан, что мы летим на голос чего-то очень большого и очень живого. И оно умеет разговаривать.

Вейн ничего не сказал. Говорить было нечего. У них не было топлива, чтобы затормозить, не было энергии, чтобы ответить, не было выбора, кроме как продолжать смотреть вперёд. Он положил ладонь на подлокотник — не для управления, а чтобы чувствовать под пальцами что-то твёрдое.

Именно тогда Лира сказала:

— В трюме что-то есть.

Она произнесла это не своим обычным резким тоном, а тихо, почти неохотно, как человек, который надеется, что ему возразят.

— Что значит «есть»? — спросил Вейн.

— Датчик переборки семь. Тот, что на грузовой палубе. — Лира не отрывала глаз от экрана. — Он мёртв, как всё остальное. Питания нет. Но пьезоэлемент в нём даёт микротоки от вибрации. Улавливает удары по корпусу. И вот он даёт мне сигнал.

— Микрометеорит?

— Ритмичный сигнал, Вейн.

Вейн повернул голову. Медленно — шея заклинила от холода, позвонки отозвались сухим хрустом.

— Насколько ритмичный?

— Одна и три десятых секунды, — сказала Лира. — Между ударами.

Слова легли в промёрзший воздух и повисли.

Одна и три десятых. Тот же интервал, что у пика на экране. Что-то в трюме «Пилигрима» билось в такт сигналу, приходящему извне. Не отвечало — Вейн ухватился за это различие, как за поручень, — не отвечало, потому что ответ требует источника энергии, а там его нет. Скорее — резонировало. Как пустой бокал начинает петь, когда рядом взять нужную ноту.

В трюме «Пилигрима» лежало то, что они привезли с собой. Обугленные, промёрзшие остатки биомассы — куски внешней мембраны Сущности, вырванные при бегстве, вросшие в шпангоуты, спёкшиеся с металлом. Мёртвое мясо чудовища. Вейн лично проверял: температура там ниже, чем в рубке, никакой активности, никакого метаболизма, ничего. Сущность осталась позади, в той золотой утробе, из которой они выгрызли себя обратно в холод.

Осталась. Он был в этом уверен.

— Оно не может двигаться, — сказал Вейн. Не Лире. Себе. — Оно мёртвое и промёрзшее. Там минус двести.

— Я не говорю, что оно двигается, — сказала Лира. — Я говорю, что оно стучит.

Эстель, не поднимая головы, произнесла в столешницу:

— Пьезоэффект работает и на резонансе. Внешний сигнал заставляет вибрировать структуру той же частоты. Кристалл в стене поёт, потому что снаружи кто-то тянет ноту. Это не жизнь. Это физика.

— Спасибо, — сказал Вейн.

— Я не пыталась тебя успокоить. — Она всё-таки подняла лицо, и оно было очень белым. — Я пыталась сказать, что структура в нашем трюме имеет ту же собственную частоту, что и сигнал снаружи. Настроена на него. Их построили под один камертон. Ты понимаешь, что это значит, капитан?

Вейн понимал. Он не хотел произносить это вслух, но капитан обязан называть вещи.

— Это значит, что сигнал зовёт не нас, — сказал он. — Он зовёт то, что мы везём.

Никто не ответил. Вентиляция сделала выдох. Секунда тишины.

Свет за стеклом дрогнул.

Сначала Вейн решил, что это глаза — сетчатка, перегруженная сиянием, начинает выдавать помехи. Он моргнул. Помеха осталась. Часть звёздного поля впереди по курсу — не в центре, а чуть левее и ниже — начала смещаться. Не гаснуть, не заслоняться. Именно смещаться, поплыла, как плывёт картинка на дне ручья, когда над ней проходит рябь.

— Лира, — сказал он.

— Вижу. — Её пальцы уже летали по мёртвой клавиатуре, выбивая привычную дробь, хотя половина команд ни на что не отвечала. — Оптика даёт искажение по левому нижнему квадранту. Гравиметры...

Она осеклась.

— Что гравиметры?

— Гравиметры проснулись, — сказала Лира, и в её голосе впервые за много часов появилось что-то, кроме усталости. — Вейн, у нас пассивные гравиметры дают показания. Впервые с тех пор, как мы заглушили реактор. Там градиент. Там сильный градиент прямо по курсу.

— Величина?

— Растёт. — Она вскинула голову. — Растёт быстро. Мы входим в приливную зону. Нас во что-то затягивает.

Вейн ощутил это раньше, чем поверил цифрам. Едва заметное натяжение — не толчок ускорения, а мягкая, всеобъемлющая тяга, как будто весь корабль медленно кто-то потянул за киль. Промёрзший кристаллик пара, висевший перед его лицом, дрогнул и поплыл вбок. К стеклу. К тому месту, где звёзды плыли.

Он вспомнил другое такое натяжение. Три недели назад, когда манипулятор коснулся мембраны Сущности, и корабль перестал слушаться, и гравитация в рубке качнулась, и кружка с кофе полетела не вниз, а в сторону. Тело помнило это ощущение раньше головы. Тело ждалось.

— Это не Сущность, — сказал он вслух, чтобы услышать возражение.

— Нет, — согласилась Эстель. Она уже подтянулась к своему экрану, забыв про холод, забыв про экономию тепла; учёный в ней съел замерзающую женщину заживо. — У Сущности не было массы. Это гравитация, Вейн. Настоящая. Ньютоновская. Впереди что-то очень тяжёлое, и мы падаем на него.

— Одно тело?

Она смотрела на цифры. Долгая пауза. Кристаллики оседали ей на ресницы.

— Два, — сказала она.

— Что?

— Два центра масс. — Эстель провела пальцем по экрану, соединяя две точки. — Градиент двойной. Два источника, и они... — Она нахмурилась. — Они вращаются друг вокруг друга. Близо. Слишком близо для звёзд. Это не звёзды. Массы малы для звёзд. Это...

— Планеты, — сказал Вейн.

— Планеты, — эхом повторила она. — Двойная система. Или почти двойная. И мы падаем в зазор между ними.

Вейн отстегнул мысленный тормоз, который держал последние часы, — тот, что говорил «просто дрейф, просто холод, просто конец, и это можно вытерпеть». Конец, к которому готовишься, — это одно. А это было другое. Это была задача. Где-то в промёрзшем, обезвоженном мозгу щёлкнул старый переключатель: режим «умирание» сменился режимом «работа».

— Что у нас есть, — сказал он. Не вопрос. Приказ вспомнить.

— Ничего, — сказала Лира. — Реактор заглушён, на холодный старт нет ни энергии, ни времени. Топлива ноль. Азот в пневматике...

— Азот?

— Пятьдесят фунтов на дюйм. — Она невесело усмехнулась. — Хватило, чтобы развернуть нас мордой к сигналу. Больше на нём мы никуда не повернём.

— Значит, у нас нет способа не падать.

— У нас нет способа даже чихнуть в сторону, Вейн. Мы баллистический объект. Мы — камень.

Вейн кивнул. Он ждал этого ответа и всё равно ощутил, как что-то внутри опустилось на дюжину этажей вниз. Камень. Всё, что осталось от капитана транспортника с расширенным научным модулем, от четырёхсот восьмидесяти стандартных суток пути, от команды в пять человек, — это камень, падающий в щель между двумя чужими мирами.

Пятеро. Он снова поймал себя на этом. Их было пятеро. Марк за постом связи, дремлющий с открытыми глазами. Торен у входа в рубку, вытирающий руки ветошью, говорящий «красиво». Вейн заставил себя не додумывать. Он сжёг эту мысль ещё три недели назад — вместе с ними. Осталось трое. Осталось довести до конца троих.

— Тогда работаем с тем, что падение можно наблюдать, — сказал он. — Роан, я хочу знать, куда именно мы падаем. На которую из двух. И когда.

— Считаю, — сказала Эстель.

Тяга усиливалась. Теперь Вейн чувствовал её постоянно — лёгкий, но неуклонный крен, от которого хотелось упереться ногой. Корабль начал очень медленно разворачиваться вокруг собственной оси; звёздное поле поползло, и вместе с ним поползла зыбкая линза искажения впереди, оставаясь, впрочем, всё время в центре, — потому что именно туда они и падали.

И тогда линза раскрылась.

Иначе Вейн не смог бы это назвать. Плывущее пятно перед носом «Пилигрима» перестало плыть и вдруг обрело глубину, как обретает её оптическая иллюзия, когда мозг наконец находит верный ракурс. То, что казалось искажением звёздного поля, оказалось краем. Краем чего-то, что висело между кораблём и дальними солнцами и было настолько тёмным, что читалось не как объект, а как отсутствие. Дыра в звёздах. А по краю дыры — тонкая, едва различимая кайма света: с одной стороны тёплого, золотистого, будто рассвет пробивался из-за невидимого горизонта; с другой — холодного, режущего, синевато-белого, с редкими злыми искрами, как отблеск сварки в темноте.

Два света. Тёплый и холодный. По краям одной тьмы.

— Роан, — тихо сказал Вейн. — Ты это видишь?

— Я смотрю на цифры, — не оборачиваясь, ответила она. — Мне хватит цифр.

— Посмотри в окно.

Что-то в его голосе заставило её посмотреть. Она подняла голову, и Вейн увидел, как в её белом лице отражаются два этих света — золотой на одной щеке, синий на другой, — и как её губы приоткрылись.

— Две планеты, — прошептала она. — И они... населены.

— С чего ты взяла?

— С того, что это свечение. — Голос её сел. — Планеты не светятся сами, Вейн. Это отражённый свет и излучённый. Тёплая сторона — это тепло. Много тепла, организованного тепла, распределённого узором. А холодная... — Она сглотнула. — Холодная — это электромагнетизм. Города. Это огни городов, капитан. Их там миллиарды.

Вейн смотрел на тьму с двумя каймами и думал о том, что три недели назад точно так же смотрел в радужное облако и не верил, что оно живое, — а оно было живым и почти сожрало их. Он думал о том, что человек, который дважды в жизни увидел чудо и оба раза это чудо оказалось пастью, имеет право не любить чудеса.

— Держитесь за что-нибудь, — сказал он. — Тяга будет расти.

Она росла. Медленно, неотвратно, с той спокойной уверенностью, с какой планета всегда побеждает всё, что имеет несчастье оказаться слишком близко. Корпус «Пилигрима» начал издавать звуки, которых Вейн не слышал уже недели, — низкий, натуженный скрип напряжённого металла, стон шпангоутов, дальний лязг где-то в корме, где приливная сила уже пробовала корабль на разрыв.

И тогда — из трюма — пришёл ответ.

Вейн не услышал его ушами. Он почувствовал его подошвами, коленями, основанием черепа. Глубокая, органическая пульсация — медленная, тяжёлая, совсем не похожая на скрип металла. Как будто в мёртвом сердце корабля кто-то сделал первый вдох за очень долгое время.

— Датчик семь, — сказала Лира, и голос её был странным. — Вейн. Он не просто стучит. Он даёт нарастающий ток. Пьезоэлемент выдаёт всё больше энергии. Вибрация в трюме усиливается.

— Резонанс, — сказал Вейн, цепляясь за слово Эстель, как за поручень. — Ближе к источнику — сильнее резонанс. Это физика.

— Это физика, — согласилась Эстель. Но она смотрела не на цифры. Она смотрела в пол, туда, где под настилом рубки, палубой ниже, лежало то, что они везли. — Это физика ровно до тех пор, пока промёрзшее мясо не начнёт нагреваться. А оно нагревается. Датчик даёт мне рост температуры в трюме. Минус двести. Минус сто восемьдесят. Минус ста семидесяти.

— От трения приливных сил, — сказал Вейн.

— Может быть, — сказала она. — А может быть, оно узнало голос и обрадовалось.

— Роан.

— Я не пугаю тебя, капитан. — Она наконец повернулась к нему, и в её глазах было очень много холодного, ясного ужаса, того самого, который приходит не от незнания, а от слишком хорошего понимания. — Я просто отказываюсь врать себе в последние часы. Сущность мертва. Но то, чем была Сущность, — то, из чего её вырастили, — может быть, не мёртво. И мы везём его кусок. И этот кусок сейчас разогревается, потому что кто-то впереди позвал его домой.

Тяга дёрнула сильнее. Эстель схватилась за скобу. Промёрзший кристаллик пара сорвался с её ресницы и полетел к стеклу — прямо, целеустремлённо, — и Вейн смотрел, как он летит, и понимал, что «вниз» теперь означает «вперёд», в тёмную щель, в зазор между золотым и синим.

Скрип металла перешёл в вой. Где-то в корме что-то лопнуло — глухой, тяжёлый удар, от которого весь корпус отозвался колоколом. По рубке поплыли, отрываясь от поверхностей, мелкие предметы: стилус, крышка от контейнера, кристаллики льда. Все они плыли в одну сторону.

— Аварийные переборки! — крикнула Лира. — Кормовой отсек разгерметизируется! Я вижу падение давления в грузовом!

— Изолируй, — сказал Вейн.

— Нечем! Система обесточена! Я могу только смотреть!

Смотреть. Опять только смотреть. Вейн стиснул подлокотник так, что заныли пальцы, и заставил себя дышать — медленно, глубоко, промёрзшим воздухом, который резал горло, как стекло.

— Тогда смотрим, — сказал он. — Роан. На которую мы падаем.

Она вцепилась в клавиатуру обеими руками, чтобы её не оторвало от стола, и не сводила глаз с экрана, где две светящиеся точки медленно расходились, а между ними росла и ширилась траектория «Пилигрима» — тонкая жёлтая нить, входящая точно в зазор.

— Ни на которую, — сказала Эстель.

— Что?

— Мы падаем не на планету. Мы падаем между ними. В точку либрации, в зазор, где их притяжения борются. — Она подняла голову, и на её лице было выражение, которого Вейн у неё ещё не видел: не страх, а почти благоговение. — И они тянут нас в разные стороны, Вейн. Обе. Одновременно. Одна тянет за нос, другая — за корму. Ты понимаешь, что это значит для корпуса?

Он понимал. Масса, скорость, сопротивление материалов. Всю свою жизнь он верил в эти три вещи, потому что они не лгали, потому что их можно потрогать, потому что они одни оставались настоящими, когда всё остальное оказывалось иллюзией. И сейчас все три говорили ему одно.

Корабль не выдержит.

— Пристегнитесь, — сказал он. — Обе. Немедленно.

Лира не спорила. Она метнулась в ложемент, рванула ремни. Эстель возилась дольше — промёрзшие пальцы не слушались пряжек, — и Вейн смотрел, как она сражается с замком, и знал, что не имеет права встать и помочь ей, потому что если он встанет сейчас, его размажет по переборке.

Тяга стала болью. Не резкой — тупой, всепроникающей, разрывающей, как будто гигантские руки взяли «Пилигрим» за оба конца и начали медленно, с удовольствием, тянуть. Вой металла достиг предела, за которым звук уже не воспринимается ухом, а входит прямо в зубы. Свет в рубке — золотой слева, синий справа — стал таким плотным, что заливал всё.

И вот в этот момент, когда мир сжался до вибрации и света, Вейн почувствовал, как что-то тёплое коснулось его сознания.

Позже он не смог бы объяснить это. Не было ни голоса, ни образа, ни видения. Была тёплая тяжесть — как будто кто-то очень большой и очень старый на секунду положил ладонь ему на затылок. Жест не угрозы. Жест узнавания. Как гладят по голове того, кого давно ждали.

И в этой тёплой тяжести было одно слово. Не по-русски и не на одном из земных языков — на языке, которого Вейн не знал и не мог знать, но который в тот миг понял всем телом, всей промёрзшей кровью, каждым ударом редкого сердца.

Слово означало: «Наконец».

Потом свет поглотил всё, вой стал тишиной, и Александр Вейн провалился в темноту, из которой не помнил ни снов, ни времени.

Он очнулся на долю секунды — или на час, он не знал, — от рывка, разорвавшего корабль пополам. Он успел увидеть, как рубку заливает золото. Успел услышать, как Лира кричит его имя откуда-то, где уже не было пола. Успел ощутить на языке вкус чужого слова, которое так и не смог выговорить.

А потом «Пилигрим» перестал быть кораблём, и началось всё остальное.

Глава 2. Разрыв

Корабль ломался не сразу.

Вейн всегда думал, что в космосе всё происходит мгновенно — вспышка, тишина, пустота. Но «Пилигрим» умирал медленно, с достоинством старой машины, которая до последнего пытается остаться целой. Сначала лопнули сварные швы вдоль главного силового набора — Вейн услышал это как очередь, глухую и частую, будто кто-то простреливал корпус изнутри. Потом застонал и начал выгибаться настил под ногами. Потом свет разделился.

Он очнулся именно на этом — на том, как золото и синева, до сих пор смешивавшиеся в рубке, вдруг разошлись по разным углам. Тёплый свет собрался слева, у поста Эстель, у входа в трюмный колодец. Холодный, синий, режущий стянулся вправо, к пилотскому ложементу Леры, к отсеку, где было больше металла, — двигатели, реактор, силовые шины. Как будто два хозяина делили дом и каждый тянул к себе свою половину.

— Крен! — крикнула Лира. — Нас скручивает по продольной оси!

Её голос доносился словно издалека, хотя она была в трёх метрах. Приливная сила, растянувшая корабль, теперь ещё и вращала его — две планеты тянули «Пилигрим» в разные стороны, и то, что не могло растянуться бесконечно, начало проворачиваться.

Вейн отстегнул ремень.

Это было безумием, и он знал это. Встать сейчас означало отдать себя на волю сил, которые размажут человека по переборке, как каплю. Но он видел то, чего не видели остальные из своих кресел: шов. Длинную, ползущую трещину в потолке рубки, ровно по границе между тёплым светом и холодным. Трещина шла точно там, где кончился жилой отсек и начинался технический. По той самой линии, где корабль был слабее всего, — по стыку секций, собранных на верфи из двух модулей.

Корабль разорвётся здесь. И разорвёт их — на тех, кто останется в тёплой половине, и тех, кого унесёт с холодной.

— Лира! — Он перекрыл вой металла. — К капсуле! Немедленно!

— Что?!

— Спасательная капсула по правому борту! Твоя сторона! Иди туда, пока можешь!

Она обернулась к нему через плечо, и он увидел её лицо — белое, в синем свете, с прилипшими ко лбу волосами, — и увидел, как до неё доходит. Не «капитан отдаёт приказ». А «капитан выбирает».

— А ты? — сказала она.

— За тобой.

— Ты врёшь.

Он не ответил. Времени на этот разговор не было, и она это знала, и всё равно медлила, вцепившись в подлокотник, потому что уйти — значило признать.

Настил дёрнулся. Трещина в потолке рванула на два метра вперёд с треском рвущейся ткани, и в неё, в тонкую чёрную полоску, потёк воздух — Вейн увидел, как струйки замёрзшего пара понеслись к щели, закручиваясь, исчезая в вакууме. Давление падало. У них были минуты. Может, меньше.

— Роан! — Вейн развернулся к биологу. Эстель уже отстегнулась и висела, держась за скобу навигационного стола, на золотой, тёплой стороне разлома. — Ты со мной. Не двигайся к трещине. Держись левого борта.

— Я вижу линию разрыва, — сказала Эстель. Её голос был неестественно ровным — тот ледяной покой, в который она уходила, когда становилось по-настоящему страшно. — Ты и я — на этой стороне. Лира — на той. Нас разнесёт.

— Знаю.

— Ты нарочно отправляешь её на металлическую половину.

— Знаю, — повторил Вейн.

Он знал, потому что посчитал. Быстро, в уме, тем холодным углом сознания, который не отключался никогда, даже сейчас. Тёплая половина — жилой отсек, лаборатория, трюм с биомассой — тянулась к золотой планете. К той, что светилась теплом, органикой, жизнью. К тому, что было родней Сущности. Он не отдал бы Лиру туда. Ни за что. Металлическая половина — двигатели, реактор, капсула — тянулась к синей, к городам, к электромагнетизму, к машинам. Незнакомый ад. Но ад из железа и электричества — это ад, который он понимал. Ад, в котором есть за что схватиться руками.

Он отправлял её в то место, где выживают за счёт злости. А злости у Леры было больше, чем у кого-либо, кого он знал.

— Иди, — сказал он ей. — Это приказ. Последний, наверное. Иди.

Лира отстегнулась.

Она не полетела к капсуле сразу. Она оттолкнулась — не туда, к правому борту, а к нему, к командирскому креслу, преодолевая крен, цепляясь за поручни, и Вейн понял, что она хочет сделать, за секунду до того, как она это сделала, и не успел ничего сказать.

Она врезалась в него, обхватила, коротко и сильно, ткнулась лбом в его плечо — ледяная, дрожащая, живая.

— Не смей, — сказала она ему в комбинезон. — Слышишь? Не смей делать вид, что это правильно.

— Это не правильно, — сказал Вейн. — Это единственное.

Он на секунду прижал её к себе — так же коротко, так же сильно, — и в этой секунде уместилось четыреста восемьдесят суток пути, и рубка, пахнувшая рециркулированной водой, и её «Вейн, у меня тут ерунда какая-то», с которой началось всё, и горечь кофе на языке, и всё, что они пережили и о чём ни разу не сказали вслух. А потом он взял её за плечи и оттолкнул. К правому борту. К синему свету.

— Держи, — сказал он.

Он сорвал с пояса плоский блок — последний рабочий модуль жизнеобеспечения, тот, что грел и фильтровал воздух в его собственном скафандре, тот, что он берёт для себя, потому что капитан обязан довести до конца троих, а чтобы доводить, надо самому дышать. Он вложил блок ей в руки и сомкнул её замёрзшие пальцы поверх.

— Вейн, это твой...

— В капсуле свой сдохнет через час. Этот даст тебе шесть. Бери.

— Тогда у тебя не будет...

— У меня будет столько, сколько нужно. — Он посмотрел ей в глаза. — Лира. В капсуле маяк. Не включай его, пока не поймёшь, кто тебя слышит. Синяя планета — это машины. Машины не жалеют. Не проси. Торгуйся. Ты умеешь торговаться лучше всех, кого я встречал. Поняла?

Её губы дрожали. Она кивнула.

— Найди нас, — сказал Вейн. — Если сможешь. Мы будем там. — Он мотнул головой в сторону золотого света. — Я буду держаться. Обещаю.

Он не знал, было ли это обещание ложью. Он никогда не давал обещаний, которых не мог сдержать, — это было одно из немногих правил, которые он пронёс через всё. И вот он его нарушил, потому что ей нужно было услышать это, чтобы уйти, а ей нужно было уйти, чтобы жить.

Настил взвыл и разошёлся.

Трещина в потолке добежала до пола, замкнулась в кольцо, и рубка «Пилигрима» начала расходиться на две части по стыку секций. В зазор хлынул свет — с одной стороны золотой, с другой синий, — и в этот зазор с рёвом устремился последний воздух корабля, потащив за

собой всё, что не было закреплено. Вейн вцепился в командирское кресло. Эстель — в скобу навигационного стола. Их половина, тёплая, накренилась и пошла влево.

А Лиру подхватило потоком воздуха и понесло вправо, к правому борту, к спасательной капсуле, — и она успела оттолкнуться, направить своё тело, влететь в круглый люк, развернуться. Вейн видел её лицо в проёме — секунду, не больше. Видел, как она бьёт ладонью по кнопке аварийного отстрела. Видел, как захлопывается люк.

А потом две половины «Пилигрима» разошлись, и между ними открылась пустота, полная звёзд.

Капсула отстрелилась беззвучно — короткая вспышка пиропатронов, и маленький металлический жёлудь оторвался от гибнущего корпуса, кувыркнулся и пошёл прочь, увлекаемый синей планетой. Вейн смотрел ей вслед, вцепившись в кресло, пока тёплая половина корабля разворачивалась и заслоняла обзор.

Последнее, что он увидел, — крохотный иллюминатор капсулы и в нём — бледное пятно лица.

Потом золото поглотило всё.

* * *

Лира Касс смотрела в иллюминатор капсулы и не могла заставить себя дышать.

Капсула кувыркалась — медленно, тошнотворно, — и звёзды в круглом окне то появлялись, то уходили, сменяясь чернотой, снова появлялись. При каждом обороте в поле зрения всплывали две половины «Пилигрима». То, что было её домом четырёхсот восьмидесяти суток. То, что было её домом всю жизнь, если считать честно, потому что другого дома у неё никогда толком и не было.

Корабль разошёлся на две части, и части эти расходились всё дальше, влекомые в противоположные стороны. Её половина — металлическая, с обрубками двигателей, с тёмным глазом мёртвого реактора — уходила к синей планете, туда же, куда падала капсула. А другая половина — жилой отсек, лаборатория, трюм — кренилась и уплывала к золотой.

И золотая планета встречала её не так, как встречают падающий мусор.

Лира прижалась лицом к холодному стеклу. Она видела, как от золотого свечения отделяются нити. Сначала она решила, что это оптический обман — те же плывущие искажения, что были перед захватом. Но нити двигались осмысленно. Они тянулись из глубины золотого сияния, как тянется рука, — тонкие, светящиеся, ветвящиеся, — и обхватывали тёплую половину «Пилигрима». Не рвали. Не крушили. Обнимали. Оплетали корпус мягко, бережно, со всех сторон, гася его вращение, укрывая его в золотом коконе.

Так не хватают добычу. Так принимают возвращающегося.

— Нет, — сказала Лира вслух, в пустоту капсулы. — Нет, нет, нет.

Она била ладонью по пульту, ища управление, ища двигатели, ища хоть что-нибудь, что развернуло бы капсулу обратно, к тёплой половине, к Вейну. Пульт отвечал ей мёртвыми красными строчками. Двигателей у капсулы почти не было — только слабые дюзы ориентации, только запас на несколько секунд коррекции, только то, чего хватало, чтобы не войти в атмосферу боком. Не хватало ни на что, что имело бы смысл. Она была таким же камнем, как «Пилигрим». Падающим в другую сторону.

В её руках лежал блок жизнеобеспечения — тёплый, работающий, гудящий. Его блок. Она сжала его так, что побелели костяшки.

Золотые нити стянулись. Тёплая половина «Пилигрима» скрылась в них полностью, превратившись в неясный светящийся сгусток, и этот сгусток начал уменьшаться — не потому, что удалялся, а потому, что золотая планета втягивала его в себя, медленно, торжественно, как заглатывает пищу что-то огромное и терпеливое.

Где-то там, внутри этого золота, был Вейн. И Роан. И то, что они везли.

Лира смотрела, пока могла. Капсула перевернулась, и золотой сгусток ушёл за нижний край иллюминатора, и на его месте всплыла синяя планета — уже близкая, уже занимающая полнеба, серо-стальная, изрытая, в оспинах городских огней, затянутая грязной дымкой атмосферы. Ад из железа и электричества. Тот, что она понимала. Тот, в который её отправил Вейн, потому что посчитал, что здесь у неё больше шансов.

Он всегда считал. Даже когда обнимал её на прощание, он считал.

— Ладно, — сказала Лира.

Её голос дрожал, и она разозлилась на него за это. Она вытерла лицо тыльной стороной перчатки — на перчатке остались кристаллики льда, её собственные слёзы, замёрзшие, не успев скатиться, — и заставила голос выровняться.

— Ладно, капитан, — сказала она уже твёрже. — Торговаться. Не проси. Держаться.

Синяя планета росла. По корпусу капсулы прошла первая дрожь — верхние, разреженные слои чужой атмосферы. Загорелась и запищала единственная живая строчка на пульте: предупреждение о входе. Температура обшивки поползла вверх. За иллюминатором чернота начала наливаться тусклым, злым багрянцем — плазма, встающая перед падающим телом.

Лира пристегнула блок Вейна к разъёму своего скафандра. Гудение стало ровнее, воздух в шлеме — чище. Шесть часов. Он дал ей шесть часов вместо часа. Она не собиралась потратить их на то, чтобы плакать.

Она вцепилась в поручни, упёрлась ногами и стала смотреть, как приближается ад, — потому что смотреть было единственным, что ей оставалось, а смотреть она умела.

Капсула вошла в атмосферу, и мир превратился в огонь и рёв.

Последней мыслью, прежде чем перегрузка вдавила её в ложемент и вышибла воздух из лёгких, было: он обещал держаться.

Значит, и она будет.

Глава 3. Отсутствие шрамов

Первым, что вернулось к Вейну, было тепло.

Не тепло обогревателя, не сухой жар обшивки у работающего реактора — а ровное, всепроникающее тепло, какое бывает только у живого тела. Оно окружало его со всех сторон, поддерживало, дышало вместе с ним. Вейн лежал в нём, ещё не открыв глаз, и его тело, приученное сотнями суток к дефициту, к холоду, к недостатку всего, впервые не требовало ничего.

Именно это его и разбудило. Не боль. Отсутствие боли.

Он открыл глаза.

Над ним изгибался свод — не металлический, не пластиковый, а из чего-то полупрозрачного, янтарного, пронизанного тонкой сетью каналов, по которым медленно двигалась светящаяся жидкость. Свод дышал. Он расширялся и опадал в медленном, огромном ритме, и с каждым вдохом по каналам прокатывалась волна золотого света, и воздух наполнялся тёплой влагой и слабым запахом — не гнили, не химии, а чего-то вроде мёда и разогретой травы.

Вейн лежал в углублении мягкой, тёплой поверхности, которая обхватывала его тело по контуру, как ладонь. Он был без скафандра. Он был без комбинезона. Он был обнажён, чист и цел, и это последнее он понял прежде, чем успел испугаться остального.

Цел.

Он поднял руку к лицу. Рука слушалась легко, без обычной утренней ломоты в суставах, без сухого хруста, к которому он привык за годы. Кожа на ладони была гладкой. Розовой. Тёплой.

Он замер.

На левой руке, на манжете комбинезона, полгода назад появилась царапина. Он получил её при ремонте грузового погрузчика — острая кромка кожуха вспорола ткань и достала до запястья, оставив тонкий белый рубец чуть выше косточки. Мелочь. Он даже не помнил боли. Но рубец был там всё это время — маленький, кривой, его собственный, — и Вейн смотрел на него сотни раз, не замечая, как смотрят на привычную приметку на стене каюты.

Рубца не было.

Запястье было гладким. Кожа — ровной, без единого следа. Он повернул руку, ища хоть что-то — старый шрам на костяшках, полученный ещё до полёта, в драке, о которой он никому не рассказывал; ожог на предплечье от паяльника; мозоли от штурвала. Ничего. Кожа была новой. Идеальной. Будто её сшили заново по чертежу, где не значилось ни одной из его историй.

Вейн сел.

Он сделал это резко, рефлекторно, ожидая, что тело отзовется болью — треснувшими рёбрами, растянутыми при разрыве корабля мышцами, чем угодно. Тело отозвалось лёгкостью. Он сидел в углублении тёплой стены, голый, целый, дышащий полной грудью медовым воздухом, и внутри у него медленно, холодно поднималось то, что было страшнее любой боли.

Он знал это ощущение. Он уже был здесь. Не в этом месте — но в этом состоянии. Абсолютная забота. Тело, освобождённое от всего, что причиняло дискомфорт. Мир, который убрал сопротивление.

— Сущность, — сказал он вслух. Голос прозвучал хрипло, но чисто — горло не саднило. — Ты снова.

— Нет, — ответил свод.

Голос пришёл не из воздуха. Он пришёл изнутри — не в уши, а сразу в сознание, как приходит собственная мысль, только чужая. Он был спокойным, тёплым, лишённым пола и возраста, и в нём не было ни угрозы, ни фальшивого умиления, которое Вейн так хорошо помнил.

— Мы не то, что ты называешь этим словом, — сказал голос. — Хотя мы понимаем, почему ты нас так встречаешь. Ты видел нашего родственника. Ты видел, во что он выродился, оставшись без нас. Мне жаль, что вы встретились именно так.

Вейн не ответил. Он оглядывался, ища источник, ища динамик, камеру, что угодно материальное, за что можно зацепиться. Стены дышали. Каналы светились. Больше ничего не было.

— Ты цел, — продолжал голос. — Твоё тело было на грани гибели. Обезвоживание, переохлаждение, микроразрывы тканей от приливной деформации. Мы восстановили тебя. Это заняло около четырёх ваших суток.

— Вы стёрли мои шрамы, — сказал Вейн.

Пауза. Короткая, но Вейн её заметил — как отмечают заминку у человека, который не ожидал такого ответа.

— Да, — сказал голос. — Повреждённые ткани были заменены. Рубцы — это неоптимальная регенерация, следы того, что тело чинило себя наспех. Мы починили его правильно. Разве это плохо?

Вот оно.

Вейн сидел неподвижно, чувствуя, как холод внутри становится ясным и твёрдым, как лёд. Он ждал следующего хода — того, что делала Сущность. Он ждал, что сейчас его накроет волной блаженства, что тело зальют эндорфинами, что мир станет мягким и уговаривающим, что его агрессию погасят на химическом уровне, как гасят пламя одеялом. Он ждал наркотика.

Он собрал в себе всё, что у него было, — всю ярость, весь ужас, всю ненависть к тому, что снова, снова его лишили его собственного тела без спроса, — и выпустил это наружу. Он хотел почувствовать, как это гасят. Хотел поймать врага за руку.

— Плохо, — сказал он, и голос его был низким и злым. — Это моё. Каждый рубец — мой. Каждый я заработал. Вы влезли в меня, пока я был без сознания, и переписали меня начисто, как будто я — черновик. Вы не починили меня. Вы меня стёрли и напечатали заново.

Он ждал волны покоя.

Волна не пришла.

Вместо неё пришла тишина — внимательная, вдумчивая тишина, — и когда голос заговорил снова, в нём не было ни капли попытки его успокоить.

— Ты злишься, — сказал голос. — Это разумно. С твоей точки зрения мы совершили насилие. Мы изменили тебя без твоего согласия, руководствуясь своими представлениями о том, что для тебя лучше. — Пауза. — Ты прав. Мы это сделали. Я не буду говорить тебе, что ты не должен злиться. Ты должен. На твоём месте я злился бы тоже.

Вейн молчал. Это было не то. Это было совсем не то.

Сущность спорила бы с ним. Сущность уговаривала бы, ласкала, доказывала, что он несчастен зря, впрыскивала бы ему счастье прямо в кровь, пока он не согласится, что счастлив. А это — это соглашалось с ним. Спокойно, без обиды, без снисхождения. Признавало его правоту. И оставляло его наедине с его собственной яростью, которой некуда было деться, потому что она бьётся о стену только тогда, когда стена сопротивляется. А эта стена не сопротивлялась. Она открывала перед его гневом дверь и говорила: входи, ты имеешь право.

Ударить того, кто уклоняется, — легко. Ударить того, кто соглашается получить удар, — почти невозможно.

— Кто вы, — сказал Вейн. Уже не крик. Вопрос.

— У нас нет имени в том смысле, в каком оно есть у тебя, — ответил голос. — Мы — то, чем стала эта планета. Люди, которых ты найдёшь здесь, называют себя многими словами. Но если тебе нужно слово, чтобы держаться, — назови нас так, как назовёшь. Имя, которое ты дашь, будет для нас честнее, чем то, которое мы дадим себе.

— Хор, — сказал Вейн. Слово пришло само, из детского, забытого. Из церкви, куда его водила мать в другой, невозможной жизни, где много голосов сливались в один и от этого делалось одновременно спокойно и жутко. — Вы поёте все вместе. Одним голосом.

— Хорал, — мягко сказал голос, будто пробуя слово на вкус. — Да. Это точно. Спасибо. Мы примем это имя.

Вейн закрыл глаза. Открыл. Стены дышали.

— Где Роан, — сказал он. — Женщина, которая была со мной. Учёный.

— Она здесь. С ней тоже говорят. Она в порядке — лучше, чем в порядке; её тело мы тоже восстановили. Вы прибыли вместе, вас приняли вместе. — Голос сделал паузу. — Вас не разлучили нарочно, капитан. Мы не тюремщики. Ты сможешь увидеть её, когда захочешь.

Именно это — «когда захочешь» — заставило Вейна окончательно похолодеть.

Тюрьма имеет решётку. Решётку можно ненавидеть, о решётку можно разбить кулаки, вокруг решётки строится сопротивление. Ему не давали решётки. Ему говорили: ты свободен, иди куда хочешь, спрашивай что хочешь, злись сколько хочешь. И это было хуже любой решётки, потому что не за что было ухватиться. Нельзя оттолкнуться от того, что поддается.

— Что вам от меня нужно, — сказал он.

— Разговор, — сказал Хорал. — Для начала.

— Люди не восстанавливают чужаков четверо суток ради разговора.

— Ты не просто чужак. — Впервые в голосе появилось нечто вроде интереса — тёплое, живое любопытство, от которого по коже Вейна пробежал холод именно потому, что оно было искренним. — Ты сделал то, чего не может никто из нас. Ты был внутри нашего родственника — той сущности, что зовёт себя свободной, — и вышел обратно. Ты держал в себе две несовместимые вещи одновременно и не сломался. У нас нет этого, капитан. Мы очень многое умеем. Но удерживать противоречие — не умеем. Мы решаем его. Всегда. А ты — носишь.

Вейн смотрел на свою новую, чистую, чужую ладонь.

— И вы хотите понять, как.

— Мы хотим понять тебя. — Пауза. — И, если ты позволишь мне быть честным до конца, — мы думаем, что ты тоже хочешь понять нас. Ты пришёл сюда, ненавидя. Но ты учёный по складу, даже если называешь себя капитаном. Тебе невыносимо не знать, что это за место и почему оно тебя позвало. Я прав?

Вейн не ответил. Ответа не требовалось, и они оба это знали.

Свод над ним дрогнул, и часть стены сбоку начала медленно расходиться — не с лязгом, а с влажным, тихим звуком, как открывается диафрагма живого зрачка. За ней открылся проход, залитый тем же тёплым золотым светом, и в проходе стоял силуэт.

Человек. Или почти человек. Стройная фигура, спокойная поза, лицо, которое Вейн пока не мог разглядеть в контровом свете, — но даже отсюда, за десять метров, он ощутил исходящее от этой фигуры ровное, тёплое спокойствие, от которого хотелось выдохнуть и которому именно поэтому нельзя было верить.

— Я не буду говорить с тобой через стены, если это тебя тревожит, — сказал голос, и Вейн понял, что теперь он звучит и снаружи, из горла стоящей в проходе фигуры, и внутри, в его сознании, одновременно, идеально совпадая. — Я дам тебе лицо. Лица легче ненавидеть. И легче доверять. Тебе будет нужно и то, и другое.

Фигура сделала шаг вперёд, в свет.

Вейн увидел, что рядом с ним, на тёплой поверхности стены, лежит что-то тёмное и грубое — единственная неровная, несовершенная вещь в этом гладком золотом мире. Он скосил глаза.

Это был лоскут его старого комбинезона. Оранжевого, выцветшего до грязно-серого, прожжённого, пропахшего кораблём. Хорал восстановил его тело идеально — но зачем-то

сохранил этот обрывок и положил рядом. Как оставляют ребёнку старую игрушку. Или как оставляют улику.

Вейн, не глядя на приближающуюся фигуру, протянул руку и сжал лоскут в кулаке. Ткань была шершавой. Она колола ладонь. Она была настоящей.

Он держался за неё, пока фигура выходила на свет, и готовился увидеть лицо того, кто будет его лечить.

Глава 4. Ржавчина и неон

Капсула вошла в атмосферу под неправильным углом, и Лира Касс узнала об этом по звуку.

Она провела за штурвалом достаточно, чтобы отличать хороший рёв от плохого. Хороший рёв — ровный, басовитый, когда плазма обтекает корпус симметрично. Плохой — с подвыванием, с рывками, когда одна сторона обшивки горит сильнее другой и капсула норовит сорваться в плоский штопор. У неё был плохой рёв. И у неё почти не было чем его исправить — только слабые дюзы ориентации, только несколько секунд газа, только руки.

Она использовала и то, и другое, и третье.

Перегрузка вдавила её в ложемент так, что перед глазами поплыли чёрные хлопья, а блок жизнеобеспечения на груди — его блок — впился в рёбра. Она держала капсулу носом вперёд голым упрямством, короткими злыми импульсами дюз выравнивая падение каждый раз, когда корпус начинал заваливаться. Пульт врал. Половина датчиков сгорела ещё на орбите. Она вела капсулу почти вслепую, по звуку, по вою, по тому, как перегрузка давит на разные части тела.

— Ну давай, — хрипела она сквозь стиснутые зубы. — Давай, тварь. Держись.

Тварь держалась ровно настолько, чтобы не развалиться. За иллюминатором багровая плазма сменилась грязно-оранжевым, потом бурым — атмосфера густела, темнела, наливалась чем-то нездоровым. Капсула прошла сквозь слой облаков, и Лира впервые увидела то, на что падала.

Внизу не было земли в том смысле, к какому она привыкла думать об этом слове. Внизу был город — но город, у которого не было ни начала, ни конца, ни верха, ни низа. Он уходил во все стороны до горизонта и вглубь, в дымную тьму, слоями: эстакады над эстакадами, трубы поверх труб, башни, вырастающие из башен, всё в потёках ржавчины и прострочках холодного неоновых света — синего, ядовито-зелёного, кислотно-розового. Между слоями клубился дым. Где-то далеко, в вышине, что-то горело ровным столбом пламени — не пожар, а факел, сжигающий отходы. Воздух был виден. Он был бурым и тёк.

Красиво, подумала Лира отстранённо, тем углом сознания, который у пилотов не отключается даже в падении. По-своему красиво. Как красив разрез, если не думать, что он на живом.

Потом стало не до красоты, потому что земля — точнее, очередной ржавый слой города — понеслась навстречу.

Она посадила капсулу так, как сажают то, что нельзя посадить: жёстко. Ударил дюзой в последний момент, гася вертикальную скорость, и всё равно удар вышиб из неё воздух и швырнул сознание в короткую черноту. Капсула пропахала что-то, лязгая и кувыркаясь, снесла что-то на своём пути, развернулась и застыла, накренившись, среди груд металлолома.

Тишина. Тиканье остывающего корпуса. Свист воздуха сквозь трещину в обшивке — и вместе с воздухом внутрь потёк запах.

Лира закашлялась прежде, чем поняла, что дышит уже не бортовым воздухом. Блок Вейна на груди тревожно запищал — датчик состава среды сошёл с ума. Она глянула на строчку: концентрация серных соединений, тяжёлые металлы во взвеси, кислотность на пределе. Воздух Кайроса. Дышать им можно было — но недолго, и каждый вдох брал понемногу займы у лёгких, обещая не вернуть.

Блок давал ей чистый воздух. Пока давал. Она посмотрела на индикатор ресурса и заставила себя не думать о цифре.

Снаружи заскрежетало.

Лира замерла. Скрежет был не случайным — не оседающий металлолом, не ветер. Это был звук шагов по железу. Несколько пар. Они приближались к капсуле, огибая её, окружая.

Кто-то постучал по корпусу — коротко, деловито, как стучат по арбузу на рынке, проверяя, спелый ли.

Голоса. Искажённые, пропущенные через дешёвые вокодеры, с металлическим призывом.

— Целая, — сказал один. — Смотри, почти целая. Реактор маленький, но есть. Обшивка на переплавку.

— Внутри кто-то есть, — сказал другой. — Датчик тепла. Живой.

— Значит, и органика свежая, — сказал третий, и в этом «органика» было столько будничного, столько привычного, что у Лиры по спине прошёл холод. Так говорят не об угрозе. Так говорят о добыче, которую уже поделили.

Она осмотрелась — быстро, по-пилотски, оценивая, что есть. Пульт мёртв. Оружия нет — откуда ему взяться на спасательной капсуле транспортника. Люк перекошен ударом. И торчащий из разлома обшивки длинный обломок внутренней рамы — узкий, погнутый, с рваным зазубренным краем там, где металл лопнул.

Лира взялась за него обеими руками и потянула. Обломок поддался с визгом, оставшись у неё в руках, — метровый кусок стали, тяжёлый, неудобный, с одного конца острый, как сломанная кость.

Люк заскрежетал. Кто-то снаружи вставлял в щель рычаг.

Лира встала сбоку от люка, прижалась спиной к тёплой ещё обшивке, подняла обломок и стала ждать. Сердце колотилось. Руки не дрожали — она отметила это с холодным удивлением. В первой жизни, той, что до Сущности, они дрожали бы. Она всегда боялась этого в себе — того, что просыпалось, когда становилось по-настоящему плохо. Того, что было готово убивать и не спрашивать. Она держала это на цепи всю жизнь.

Здесь, кажется, цепь была не нужна.

Люк с лязгом отошёл. В проём просунулась голова — Лира увидела её краем глаза: половина лица человеческая, серая, испитая, половина — грубая металлическая пластина с тускло тлеющим окуляром, из-под которой в ноздрю уходила трубка респиратора. Мусорщик. Кибернетизированный ровно настолько, чтобы дышать этим воздухом и не платить за фильтр.

Он увидел её. Окуляр дёрнулся, фокусируясь. Он открыл рот — то ли крикнуть своим, то ли сказать ей что-то, — и Лира не стала ждать, что именно.

Она ударила.

Не в лицо — в горло, в незащищённую человеческую половину, ниже пластины, туда, где под серой кожей билась жизнь. Зазубренный край вошёл легче, чем она думала. Мусорщик захрипел, схватился за шею, повалился назад, из-под пальцев толчками пошла тёмная кровь. Лира выдернула обломок и вывалилась следом за ним из капсулы, потому что оставаться в железном гробу, к которому подбираются со всех сторон, — верная смерть, а она не собиралась умирать. Не сегодня. Не в первый же час.

Их было ещё трое. Они отшатнулись — не от страха, а от неожиданности; они пришли разбирать капсулу, а не драться, — и эта секунда замешательства была всем, что у неё было. Лира использовала её всю.

Что было дальше, она потом не могла восстановить по порядку. Осталось урывками. Хруст. Чей-то вскрик, оборванный на середине. Удар обломком, пришедшийся по металлической пластине и отдавший ей в плечи так, что онемели руки. Чужая рука, вцепившаяся ей в волосы, — и её собственный локоть, вбитый назад, в чьё-то лицо, коротко и страшно. Ржавый пол под коленями. Запах серы, крови и горелого масла. И где-то в глубине, под адреналином, под яростью, — холодное, ясное удивление тем, как легко её тело вспоминает то, чему она никогда его не учила.

Когда всё кончилось, она стояла на четвереньках среди металлолома, и её рвало — не от отвращения, а от перегрузки, от того, что тело сжигало разом всё, что скопилось. Двое мусор-

щиков лежали неподвижно. Двое других уползали в дым, скуля на своих вокодерных голосах, и не оборачивались.

Ли́ра поднялась. Её шатало. Блок на груди пищал — тонко, настойчиво, — и она посмотрела на индикатор, и цифра была уже другой, меньше, чем должна была быть. Драка сожгла воздух. Она дышала чаще, чем экономно, и блок расплачивался за это её будущим.

Шесть часов. Он дал ей шесть. Она потратила почти час на посадку и минуты на драку, и теперь на индикаторе было меньше пяти.

Она посмотрела на тело ближайшего мусорщика.

Он лежал на спине, и его металлическая половина лица тускло отсвечивала неоном, а из ноздри всё так же уходила под пластину трубка респиратора — тонкий гибкий шланг, соединённый с плоской коробочкой фильтра на поясе. Фильтр. Тот, что позволял ему дышать этим воздухом бесплатно, без всякого блока, годами.

Ли́ра стояла и смотрела на него, и понимала, что сейчас сделает, и понимала, что не хочет этого делать, и понимала, что сделает всё равно.

Она опустила́сь на колени рядом с телом. Тело было ещё тёплым — Кайрос не успел его остудить. Она нашла крепление фильтра, отстегнула коробочку от пояса. Потом взялась за трубку, уходящую под пластину, в ноздрю, в мёртвую плоть, и потянула. Трубка вышла с тихим, влажным звуком, и вместе с ней — запах, от которого Ли́ру снова чуть не вывернуло: запах чужого нутра, чужого дыхания, чужой крови.

Она держала фильтр в руках — тёплый, липкий, чужой — и понимала, что вот он, первый шаг. Не имплант, не операция, не сделка. Просто вещь, снятая с мёртвого, чтобы жить дальше. Но она знала — тем самым холодным углом, который не отключался, — что это только начало. Что этот воздух, этот город, этот ад из железа берёт с каждого одну и ту же плату, и платить придётся не деньгами. Платить придётся собой. По кусочку. Начиная с малого.

Она отсоединила пустеющий блок Вейна — бережно, как отсоединяют что-то дорогое, — и убрала его во внутренний карман скафандра, к сердцу. Не выбросила. Не потратит до конца. Потом прилади́ла чужой фильтр, вставила трубку — не в нос, у неё не было пластины, — а к вороту скафандра, к аварийному разъёму, кое-как, наспех, зная, что это грязно, что это чужая биология лезет в её систему, и делая это всё равно.

Она сделала первый вдох через фильтр мертвеца.

Воздух был странным. Он горчил. В нём был привкус металла, серы — и чего-то ещё, тёплого и солёного, что она сначала не узнала, а потом узнала и заставила себя не думать об этом. Привкус чужой крови, оставшейся в трубке.

Ли́ра стояла среди ржавого хлама, под слоями чужого города, под холодным неоновым светом, дышала кровью убитого ею человека — и была жива.

— Ладно, — сказала она хрипло, в бурый текучий воздух. — Ладно, капитан. Я поняла правила.

Где-то высоко, за слоями эстакад, за дымом, за факелом, сжигающим отходы, было небо. А за небом — золотая планета, в которой золотые нити приняли, как родного, обрубок с Вейном и Роан.

Ли́ра не смотрела вверх. Смотреть вверх было некогда. Она подобрала обломок стали — теперь это было её оружие, её первое имущество в новом мире, — и пошла в дым, прочь от капсулы, к неоновым огням, туда, где был этот город и где, значит, были люди, а где люди — там можно торговаться.

Она умела торговаться лучше всех, кого знал Вейн. Он сам так сказал.

Осталось найти, с кем.

Глава 5. Симфония

Эстель Роан очнулась в лаборатории и первые несколько минут была почти счастлива.

Она понимала, что это неправильная реакция. Она отметила её как неправильную — так же, как отметила бы аномальный пик на графике, — и всё равно не могла подавить. Вокруг было то, чего она была лишена триста с лишним суток: чистые поверхности, ровный свет, порядок. Только поверхности здесь были не металлом и не пластиком, а чем-то живым — перламутровым, тёплым, с медленно пульсирующими под кожей стенок сосудами. И порядок был не человеческим порядком разложенных по местам инструментов, а порядком иного рода, от которого у неё, биолога, перехватывало дыхание: порядком идеально работающей ткани.

Она лежала на мягком ложе, которое подстраивалось под её тело. Она была цела, чиста, согрета. Обезвоживание, отморожения, истощение — всё, с чем она засыпала в промёрзшей рубке «Пилигрима», — исчезло. Кто-то, пока она была без сознания, привёл её тело в состояние, которого оно не знало, наверное, с самого старта экспедиции.

— Тебе лучше, — сказал голос.

Он звучал у неё в голове — мягкий, ясный, без пола. Эстель не вздрогнула. Она слишком устала удивляться, и, кроме того, учёный в ней уже жадно каталогизировал: голос без источника, прямая нейростимуляция, вероятно, через тот же биоаэрозоль, которым насыщен воздух.

— Вы говорите прямо в слуховую кору, — сказала она. — Минуя ухо. Как?

Пауза. Эстель научилась читать эти паузы за прошедшие минуты — их было уже несколько. Пауза означала: собеседник не ожидал такого вопроса и находит это любопытным.

— Большинство спрашивает «кто вы» или «где я», — сказал голос. — Ты спрашиваешь «как».

— «Кто» и «где» я выясню сама, из «как», — сказала Эстель. Она села. Тело слушалось идеально, и это было приятно и тревожно одновременно. — Механизм объясняет намерение. Расскажите механизм — и я пойму всё остальное.

— Да, — сказал голос, и в нём было тепло, похожее на одобрение. — Ты нам подходишь. Эстель не спросила, для чего. Она запомнила эту фразу и отложила.

Стена лаборатории плавно разошлась — тем же влажным, живым движением, — и вошла женщина. Или существо в форме женщины: высокая, с гладкой, чуть светящейся изнутри кожей, с глазами слишком ясными и слишком спокойными. Она двигалась с той плавностью, которая на человеческий глаз читается как грация, а на глаз биолога — как отсутствие лишних микродвижений, как идеально оптимизированная моторика. Ни одного дрожащего мускула. Ни одной случайной поправки равновесия.

— Меня можно называть куратором, — сказала женщина, и её губы двигались в точном совпадении с голосом в голове Эстель. — Я — часть того, что говорит с тобой. Мне дали отдельное тело и отдельный голос, чтобы тебе было проще. Пойдём. Ты хотела понять «как». Я покажу.

Они шли по коридорам, которые не были коридорами, а скорее сосудами — плавно изгибающимися проходами в теле чего-то огромного. Стены дышали. Свет пульсировал в такт. Иногда мимо проходили другие — люди и не-люди, все спокойные, все с этой нечеловеческой плавностью, все чуть светящиеся, — и каждый, встречаясь с Эстель взглядом, коротко, мягко улыбался ей. Не заискивающе. Не угрожающе. Так улыбаются давно ожидаемому гостю.

— Вы не пытаете, — сказала Эстель. Это был не вопрос — констатация, которую она проверяла на прочность.

— Зачем? — искренне удивилась куратор. — Боль разрушает данные. Испуганный разум лжёт — себе и другим. Мы не хотим сломанную Эстель Роан. Мы хотим целую, ясную, сво-

бодно думающую Эстель Роан. Такая нам полезнее. И, — куратор чуть повернула голову, — счастливее. Разве это плохо?

Эстель отметила «полезнее». Отметила «данные». Отметила, что куратор говорит с ней как равная с равной, и что это льстит, и что лесть — это тоже инструмент.

Проход вывел их в пространство, у которого Эстель не сразу нашла масштаб.

Это был зал — если можно назвать залом полость размером с город, уходящую вверх и вниз в золотое марево. Стены были не стенами, а живой тканью, и в этой ткани, уровень за уровнем, в мягких углублениях покоились тела. Тысячи. Десятки тысяч, насколько хватало глаз, и ещё больше терялось в глубине. Люди и не-люди, соединённые со стенами тонкими светящимися нитями, уходящими в затылки, в позвоночник. Они не спали — Эстель видела, как приоткрываются и закрываются веки, как шевелятся губы, — но и не бодрствовали в обычном смысле. Их лица были спокойны той запредельной, разлитой безмятежностью, какой не бывает у отдельного, одинокого сознания.

И над всем этим стояло что-то, что Эстель ощутила не ушами и не глазами. Как будто сам воздух звенел на грани слышимого — огромный, многослойный, согласный аккорд из миллиардов голосов, слитых в один. Не музыка. Но и не шум. Мысль. Одна мысль, которую думают все сразу.

— Симфония, — тихо сказала куратор, и в её голосе, впервые, послышалось почти благоговение — искреннее, не наигранное. — Так мы это называем. Каждый из них — отдельная нота. Вместе они — то, чем стала эта планета. Здесь нет войны, Эстель. Здесь нет одиночества. Нет непонятости. Ни одна боль здесь не пропадает зря — она входит в общий звук и делает его глубже.

Эстель стояла на краю и смотрела вниз, в золотое марево, полное покоящихся тел, и ловила себя на том, чего не ожидала от себя поймать.

Она ожидала ужаса. Улей, рой, растворённые личности, отменённая индивидуальность — всё, чему её учили бояться, всё, против чего восставала гуманистическая часть её, та часть, что помнила Землю, помнила имена, помнила, что человек — это отдельное. Она ждала, что её замутит.

Её не замутило. Ей было — красиво.

Это и был ужас. Не сам улей. А то, что улей казался ей красивым.

— Один из ваших, — сказала Эстель, и голос её был ровнее, чем ей хотелось, — вон тот, на третьем уровне. Он улыбается. Что он чувствует?

— Всё, — просто сказала куратор. — Он чувствует всех остальных. Их радость — его радость. Их знание — его знание. Он больше не заперт в одном черепе, Эстель. Ты знаешь, что такое быть запертой в одном черепе. Ты триста суток провела в консервной банке с тремя людьми, которых постепенно переставала выносить, потому что вас было слишком мало и вы были слишком отдельны. — Голос был мягок, без укола, только с пониманием. — А представь, что стен между вами нет. Что ты можешь войти в чужую мысль так же легко, как в свою. Что тебе больше не нужно объяснять — тебя уже понимают.

Эстель молчала. Внизу дышала Симфония.

— Один вопрос, — сказала она наконец. — Когда он входит туда — он остаётся собой? Или он становится всеми?

Пауза. Долгая. Эстель отметила её как самую длинную из всех.

— Он становится больше, чем был, — сказала куратор.

— Это не ответ на мой вопрос.

— Нет, — согласилась куратор без всякой обиды. — Не ответ. Ты заметила. Мало кто замечает. — Она повернулась к Эстель, и в её слишком ясных глазах было что-то, отдалённо похожее на уважение. — Вы, люди, задаёте вопросы, которые мы разучились задавать. Мы

решили этот вопрос очень давно и перестали его слышать. А ты слышишь его до сих пор. Именно поэтому ты нам и нужна.

Они смотрели вниз, в золото, вдвоём.

— Я хочу предложить тебе обмен, — сказала куратор. — Честный. Ты учёный — я говорю с тобой как с учёным. У нас есть архивы. Всё знание этой планеты, накопленное за время, которое ты не сможешь вообразить. История, биология, физика, то, чего люди не открыли и за тысячу лет не откроют. Я дам тебе доступ. Не весь — но достаточно, чтобы ты поняла, где вы оказались. Ты хочешь этого больше всего на свете. Я знаю. Я это чувствую.

— А взамен?

— Вы привезли с собой кое-что. — Куратор смотрела прямо перед собой, в золотое марево. — Обломки. Ткань. Остатки существа, которое едва вас не убило. Оно нам... знакомо. Оно давно нас интересует. Изучи его для нас. Ты биолог, ты уже держала его в руках, ты понимаешь его лучше, чем кто-либо из нас, потому что мы к нему слишком близки, чтобы видеть ясно. Скажи нам, что это стало. Вот и всё.

Эстель повернула голову и посмотрела на куратора.

— Оно вам «знакомо», — повторила она. — Не «неизвестно». Знакомо.

Пауза. Короткая на этот раз — куратор поняла, что оговорилась, и не стала притворяться, что нет.

— Ты и это заметила, — сказала она. — Да. Знакомо. Насколько — ты поймёшь сама, когда изучишь. Я не буду отнимать у тебя удовольствие открытия. Это было бы неуважением к учёному.

Эстель смотрела вниз, в Симфонию, где дышали десятки тысяч спокойных, счастливых, растворённых людей, и думала о том, что ей предлагают ключ от всех дверей в обмен на маленькую услугу, и что это слишком щедро, и что за слишком щедрым всегда стоит нужда сильнее, чем показывают.

Они привезли обломки чудовища через полгалактики. Хорал восстанавливал её тело четверо суток. А теперь всё, что великой планете нужно от крохотного человека, — это чтобы человек посмотрел в микроскоп на кусок мяса, который планете «знаком».

Значит, планета сама смотреть в этот микроскоп не хочет. Или не может. Или боится.

— Хорошо, — сказала Эстель.

Она сказала это ровным, деловым голосом биолога, принимающего условия эксперимента. И только глубоко внутри, в том углу, который не отключался никогда, тихо, холодно и ясно зафиксировала: она согласилась не потому, что её вынудили. Она согласилась потому, что хотела в эти архивы больше, чем боялась того, что найдёт.

Внизу дышала Симфония, и её огромный согласный аккорд был почти прекрасен, и Эстель Роан, глядя в золото, впервые с ужасом поняла, что именно так — не под пыткой, а по собственному любопытству — растворяются в чужой красоте по одному.

Глава 6. Право сильного

Фильтр мертвеца продержался семь часов, а потом начал захлёбываться.

Лира поняла это по тому, как каждый вдох стал требовать усилия — воздух шёл через забитую мембрану с сопротивлением, с присвистом, и с каждым разом в лёгкие попадало чуть больше Кайроса и чуть меньше того, что можно назвать воздухом. Фильтр был рассчитан на своего хозяина, на его ритм дыхания, на его нагрузку. Он не был рассчитан на женщину, которая семь часов пробиралась вниз, уровень за уровнем, сквозь ржавые кишки чужого города.

Она спускалась, потому что вверх идти было некуда, а внизу, судя по всему, была жизнь. Огни становились гуще. Появлялись мостки, лестницы, натянутые между эстакадами тросы с висящим на них тряпьем. Появлялись люди — вернее, тени людей, метавшиеся в дыму, провожавшие её взглядами тускло тлеющих окуляров. Они не нападали. Они смотрели. Одинокая чужачка с куском стали в руках и чужим фильтром на воротах — это была загадка, а на Кайросе, Лира уже понимала, загадки сначала изучают, а потом решают в свою пользу.

Она вышла на свет внезапно.

Проход вывел её на широкую эстакаду, и эстакада была полна. После многих часов дыма, ржавчины и одиночных теней это ударило по глазам: рынок. Толпа. Сотни существ — людей, полулюдей, того, что когда-то было людьми, — толкались между рядами, где под навесами из светящейся ткани лежал товар. И товар был плоть.

Не еда. Плоть в смысле запчастей. Руки — механические, биомеханические, разного качества, разложенные по размеру. Глаза в подсвеченных колбах. Позвоночные импланты, свёрнутые кольцами, как змеи. Лёгкие — Лира увидела ряд лёгких, настоящих и синтетических, подключённых к тихо сопящим насосам, чтобы не портились. Дыхательные фильтры — сотни, целыми связками, от грубых до изящных. Здесь торговали тем, из чего сделан человек, так же буднично, как на земном рынке торгуют овощами.

«Свободная зона», — сказал кто-то рядом, заметив, как она застыла. Пожилой торговец с лицом, наполовину заменённым матовой керамикой, смотрел на неё почти с сочувствием. «Первый раз, да? Тут всё продаётся, красавица. Всё покупается. Даже ты. Особенно ты — целая, неломаная, откуда такая». Он потянулся к ней, к её руке — не грубо, оценивающе, как трогают ткань на прилавке.

Лира отбила его руку куском стали. Не сильно. Предупреждающе.

Он засмеялся — сухим, дребезжащим смехом — и отступил, подняв ладони. Но Лира уже почувствовала, как вокруг неё что-то изменилось. Смех торговца был сигналом. Из толпы к ней разворачивались — медленно, лениво, уверенно — несколько фигур. Крупные, тяжело кибернетизированные, с той расслабленной наглостью, какая бывает у тех, кто на своей территории и знает, что жертве бежать некуда.

Их было пятеро. Они окружали её, не торопясь, отрезая от проходов, и толпа вокруг расступалась, освобождая место, — не из страха, поняла Лира, а из вежливости. Из уважения к чужому промыслу. Здесь не вмешивались. Здесь смотрели.

Она прижалась спиной к опоре навеса, чтобы не зайти со спины, и подняла сталь. Пять. С куском арматуры против пятерых киборгов. Она умела считать не хуже Вейна, и счёт был плохой.

— Целая, — сказал один из них, тот, что впереди, разглядывая её окуляром. — Правда целая. Смотри, ни одного импланта. Свежее мясо с неба. — Он ухмыльнулся человеческой половиной рта. — Ты знаешь, сколько ты стоишь по частям, небесная? Ты знаешь, сколько стоит целое, необлучённое лёгкое?

— Дороже, чем стоит тебе его вынуть, — сказала Лира.

Она сказала это ровно, без дрожи, и увидела, как ухмылка на его лице чуть померкла. Не от угрозы — от неожиданности. Жертвы так не говорят. Жертвы просят.

— Дерзкая, — сказал он, и потерял к разговору интерес. — Берём.

Они двинулись все сразу.

Что было бы дальше, Лира знала. Она успела бы достать одного, может, двоих, а потом её бы смяли — не убили сразу, нет, слишком ценная, — свалили, обездвигили и разобрали заживо там, где стоят. Она знала это и всё равно подняла сталь, потому что стоять и ждать было не в её характере, а если умирать, то с зазубренным краем в чьём-нибудь горле.

Выстрел прозвучал сухо и коротко.

Не грохот порохового оружия — резкий электрический треск, будто разорвали толстую ткань. Голова ближайшего к Лире киборга дёрнулась, окуляр погас, и он мягко, как подрубленный, осел на ржавый настил. Мгновение все стояли неподвижно.

Потом Лира увидела стрелка.

Он стоял на перилах верхнего яруса, метрах в пяти над эстакадой, — сидел, вернее, небрежно, свесив одну ногу, будто зашёл поглазеть. Высокий, поджарый, в тёмной куртке из чего-то, похожего на кожу и металл одновременно. Половина его лица была живой — резкой, с недельной щетиной, с тонким шрамом через бровь. Другая половина, вдоль виска и скулы, уходила под матовую пластину, и там, где у людей глаз, у него тускло, ровно светился синим искусственный окуляр, тихо жужжащий при перефокусировке. В опущенной руке он держал длинноствольное оружие, из дула которого ещё вилась струйка ионизированного воздуха.

— Четверо, — сказал он лениво, ни к кому конкретно. — Осталось четверо. У меня в обойме ещё двенадцать зарядов, а у вас — четыре пары не самых дешёвых лёгких. Посчитайте.

Он говорил без нажима, почти скучающе, и именно поэтому ему верили. Четверо оставшихся переглянулись. Математика была не в их пользу, и, что важнее, они не понимали, зачем ему это, — а на Кайросе непонятная переменная страшнее понятной угрозы.

— Она наша добыча, Каэль, — сказал главный, но уже без прежней уверенности. — Мы её загнали.

— Была ваша, — сказал тот, кого называли Каэлем. — Теперь спорная. — Он спрыгнул с перил — легко, беззвучно, погасив удар коленями, — и оказался между Лирой и киборгами, не глядя на неё, глядя на них. — А знаешь, что я не люблю? Спорить. Долго, нудно. Гораздо проще, когда спорить не с кем.

Он не поднял оружие. Он просто чуть повёл стволом. И этого хватило: главный сплюнул тёмным, буркнул что-то про то, что «небо ещё прийдёт», и увёл своих в толпу. Толпа сомкнулась за ними, как вода. Представление кончилось. Все вернулись к торговле плотью, будто ничего и не было.

Каэль повернулся к Лире. Синий окуляр скользнул по ней сверху вниз — Лира почти физически ощутила этот взгляд, деловой, оценивающий, раздевающий не похотливо, а инвентарно.

— Ты не с Кайроса, — сказал он. Не вопрос.

— Нет.

— И не с Хорала — те не дерутся арматурой, они бы тебя усыпили улыбкой. — Он склонил голову набок. — Ты откуда-то ещё. Из третьего места. — Что-то мелькнуло в живой половине его лица — не жадность, а что похуже: любопытство. — А третьих мест не бывает, небесная. Есть Хорал, есть Кайрос, и всё. Так что ты — либо ложь, либо очень интересная правда.

— Я — та, кто только что чуть не лишилась лёгких, — сказала Лира. — И та, кому ты зачем-то в этом помешал. Так что говори прямо: чего ты хочешь. Здесь никто ничего не делает даром. Я уже поняла.

Каэль улыбнулся — и это была настоящая улыбка, острая, довольная, будто она подтвердила что-то, на что он поставил.

— Быстро учишься. — Он закинул оружие за спину. — Хорошо. Прямо так прямо. Твой фильтр сдыхает — я слышу, как ты хрипишь, отсюда слышу. Ещё час, и ты начнёшь блевать кровью, а через три — умрёшь, некрасиво, на этом самом полу, и вот эти же ребята разберут твой остывающий труп на запчасти, только уже бесплатно. Тебе нужны лёгкие, которые дышат этим воздухом. Настоящий имплант, а не эта дрянь с помойки.

— А тебе нужно?

— А мне нужен пилот.

Лира замерла.

— Я видел, как ты вошла в зону, — продолжал Каэль. — Как ты держишь равновесие, как ты просчитываешь проходы, как ты стоишь — спиной к опоре, лицом к пятерым. Так стоят те, кто привык к машине под собой и к тому, что от их рук зависят жизни. Ты водитель. Хороший. Может быть, очень хороший. А мне для одного дела нужен очень хороший водитель, потому что мои — сдохли, а те, что остались, летают, как беременные коровы. — Он развёл руками. — Вот и вся арифметика, небесная. Я даю тебе лёгкие и воздух. Ты даёшь мне свои руки на одно дело. Потом — свободна. Или не свободна, если тебе у меня понравится.

Лира смотрела на него и понимала, что не верит ни единому его слову о «потом» и что это не имеет значения. Имело значение только то, что фильтр на её воротах хрипел всё громче, и что блок Вейна, спрятанный у сердца, она не собиралась вставлять сейчас — берегла на чёрный день, а этот день, как ни плохо, был ещё не самый чёрный. Имело значение, что она хотела жить. Что она обещала Вейну жить.

Не проси. Торгуйся.

— Одно дело, — сказала она. — Конкретное. Не «пока не понадобится». Одно, названное заранее. И лёгкие ставит тот, кому я доверяю, а не первый мясник с рынка.

Каэль засмеялся — коротко, с удовольствием.

— Доверяешь? — переспросил он. — Небесная, тут никто никому не доверяет, это первое правило Кайроса. Но, — он поднял палец, — я оценил, что ты сделала вид. — Он мотнул головой в сторону прохода. — Идём. Клиника моя, хирург мой, и он трезвый — редкость. Одно дело, названное заранее — получишь. А насчёт «потом» договоримся, когда ты увидишь, что я плачу честно. Это второе правило Кайроса: репутация дороже совести, потому что совесть здесь не котируется, а репутация — валюта.

Лира пошла за ним.

Она шла и считала — выходы, углы, его оружие, расстояние до его спины, — потому что так её научил Вейн и потому что иначе она не умела. И где-то под этим счётом, глубоко, тихо билась одна простая, злая мысль: она в аду. В настоящем, честном, железном аду, где человека продают на запчасти под равнодушными взглядами толпы. И этот ад был ей понятнее, роднее и, чёрт возьми, чище, чем то золотое, ласковое, соглашающееся нечто, что забрало Вейна.

Здесь хотя бы не притворялись, что любят тебя, пока разбирают на части.

* * *

Хирург был трезв, как и обещал Каэль, и молчалив. Клиника представляла собой отсек, отгороженный от общего шума листами гофрированного металла, с одним столом посередине и стеной инструментов, часть которых Лира предпочла не разглядывать.

— Анестезии не будет, — сказал хирург, первое, что он сказал. — Точнее, будет, но за отдельную плату, а Каэль за неё не платит.

— Не плачу, — подтвердил Каэль, привалившись к косяку. — Анестезия — это роскошь для тех, кому нечего доказывать. А ей есть.

Ли́ра легла на стол. Металл был холодным. Хирург закрепил её руки — не жёстко, но надёжно, — и она не сопротивлялась, потому что понимала: когда начнётся, тело захочет вырваться, а вырваться нельзя, когда у тебя в грудной клетке чужие руки.

— Дыши глубоко, пока можешь, — сказал хирург. — Последние нормальные вдохи.

Он вскрыл её.

Боль была такой, какой Ли́ра не знала. Не удар, не порез — медленное, методичное вторжение внутрь живого, вглубь, туда, где нервов быть не должно, а они есть. Она закусила ремень, который дал ей хирург, и не закричала — не из гордости, а потому что крик забирает воздух, а воздуха у неё почти не осталось. Мир сузился до раскалённой точки в груди, до холодного металла под спиной, до синего окуляра Каэля, наблюдавшего за ней от косяка без жалости, но и без насмешки — внимательно, как смотрят на того, кого проверяют.

И в этой боли, на самом её дне, Ли́ра вдруг поймала странную, ясную мысль — ту самую, которую поймает в эти же часы, за золотой стеной, на другой планете, человек, которого она любила, хоть она и не могла этого знать.

Боль была настоящей.

Никто не убирал её, не подслащивал, не превращал в удовольствие. Она была грубой, честной, объективной — она принадлежала Ли́ре и никому больше. И пока Ли́ра её чувствовала — она была жива, она была собой, она была здесь, а не растворена в чьём-то ласковом золоте.

— Больно, — прохрипела она сквозь ремень, и это прозвучало почти как торжество.

— Значит, живая, — равнодушно отозвался хирург, не отрываясь от работы.

Каэль от косяка чуть приподнял бровь — живую половину лица тронуло что-то, чего он сам, кажется, не ждал. Не жалость. Интерес. Как будто небесная чужачка сказала вслух то, что он давно чувствовал, но никогда не находил слов.

Ли́ра этого не видела. Она смотрела в потолок из гофрированного металла, дышала болью и чужим воздухом, и держалась за одно: она платит за жизнь собственной болью, а не чужой добротой. И это была сделка, которую она понимала.

Глава 7. Идеальная клетка

Ту, что вышла на свет в проходе, звали Аура.

Вейн узнал имя не сразу — оно пришло к нему потом, из её собственных губ, — но лицо он запомнил в первую же секунду и уже не смог забыть. Позже, много позже, он поймёт, что именно это и было задумано: чтобы он не смог забыть.

Она была красива не так, как бывают красивые люди. У человеческой красоты всегда есть изъян, который её и делает красотой, — чуть неровная улыбка, тень усталости под глазами, асимметрия, которую взгляд достраивает до совершенства. У неё изъяна не было. Лицо было выверенным, как теорема, — и всё же тёплым, живым, дышащим, а не мраморным. Светлые волосы. Спокойные глаза цвета, которого Вейн не смог назвать. Осанка, от которой хотелось выпрямиться самому. Когда она сделала шаг, Вейн поймал себя на том, что его собственное тело чуть подалось ей навстречу — рефлекторно, помимо воли, как поворачивается к теплу озябший, — и заставил себя замереть.

Химия, сказал он себе, стискивая в кулаке шершавый лоскут старого комбинезона. Феромоны. Нейрохимия. Тебя обрабатывают на уровне, до которого не дотягивается воля. Помни это.

— Ты сжимаешь ткань, — сказала Аура вместо приветствия. Голос был низким, мягким, без всякой музыкальности, которой Вейн ожидал и которой боялся. — Крепче, чем нужно, чтобы просто держать. Тебе так спокойнее?

— Да, — сказал Вейн, не разжимая кулак.

— Хорошо. — Она не попыталась отнять или переубедить. Она просто села — на выступ живой стены, напротив, на расстоянии, которое человек выбирает, когда не хочет давить. — Тогда держи. Я не буду мешать тому, что тебя держит. Мне сказали, что ты не веришь голосу из стен. Меня зовут Аура. У меня есть тело, лицо и имя. Верить лицу проще. Хотя, — уголок её губ чуть дрогнул, — умный человек не верит и лицу. Так что мы, наверное, никуда не продвинулись.

Вейн молчал. Он ждал приторности. Он ждал, что сейчас его начнут окружать заботой, ворковать, предугадывать желания, — ждал того, что делала Сущность, подсовывая ему призрака жены. Он был готов к этому и знал, как это ненавидеть.

Аура не делала ничего из этого. Она сидела и смотрела на него — не влюблённо, не жалостливо, а с ясным, спокойным вниманием, как смотрят на сложную задачу, которую интересно решать.

— Ты боец, — сказала она наконец. — Или был им. Ты сейчас перебираешь способы меня ударить и отбрасываешь один за другим, потому что понимаешь, что ударить меня физически бессмысленно, а ударить словом — не за что зацепиться, потому что я с тобой не спорю. И это тебя злит сильнее, чем если бы я спорила. Я права?

— Ты читаешь микромимику, — сказал Вейн. — Пульс. Расширение зрачков. Ты не угадываешь. Ты меряешь.

— Да, — сказала Аура просто. — Я меряю. Это не обман. Я не притворяюсь, что читаю твою душу магией. Я вижу твоё тело лучше, чем ты сам, и по телу понимаю мысль. Тебе это неприятно.

— Мне это знакомо. — Вейн наконец посмотрел ей прямо в глаза. — Другая тварь тоже меня меряла. Она построила из моих замеров женщину, которую я любил, и подсунула мне. Так что прости, если я не в восторге от того, как хорошо ты меня видишь.

Он бросил это, чтобы ранить. Чтобы проверить — дрогнет ли идеальное лицо, включится ли программа утешения, польётся ли мягкое «мне так жаль».

Аура не вздрогнула. Но что-то в ней изменилось — не сочувствие, а мысль. Она чуть сдвинула брови, обдумывая.

— Значит, тебе показывали подделку под любовь, — сказала она медленно. — И теперь любую точность ты читаешь как подделку. Логично. Ты не можешь отличить того, кто хорошо тебя знает, от того, кто хорошо тебя имитирует, потому что снаружи это выглядит одинаково. — Она помолчала. — Это тупик, Вейн. Из него нет выхода через доказательства. Что бы я тебе ни доказала, ты скажешь: подделка умеет и это.

— Да, — сказал Вейн. — Скажу.

— Тогда я не буду доказывать. — Она откинулась к стене. — Это было бы тратой времени, а я не люблю тратить время; в этом мы, кажется, похожи. Я просто буду рядом. Ты будешь злиться, проверять меня, ставить ловушки, а я буду отвечать честно, даже когда честный ответ мне невыгоден. И однажды ты заметишь, что я ни разу тебе не солгала. Это ничего не докажет — подделка тоже могла бы не лгать. Но ты заметишь. И тебе придётся что-то с этим делать.

Вейн смотрел на неё и чувствовал, как холод внутри становится тоньше, острее — не отступает, а меняет форму. Это было хуже притворности. Притворность он раскусил бы за минуту. А это — умное, спокойное, не давящее — обходило все его защиты, потому что защиты были выстроены против натиска, а натиска не было.

— Зачем, — сказал он. — Зачем вам это. Не «планете». Тебе. У тебя ведь есть отдельное «тебе», раз тебе дали лицо и имя. Зачем тебе возиться со мной?

Пауза.

Короткая — но Вейн, который всю жизнь читал людей по заминкам, отметил её. И отметил, что за эту заминку по идеальному лицу Ауры прошла тень — не программы, а чего-то, для чего у него пока не было названия.

— Мне поручено помочь тебе исцелиться, — сказала она. Ровно. Правильно. По протоколу.

— Это ответ куратора. Я спросил не куратора.

Ещё пауза. Длиннее.

— Мне... интересно, — сказала Аура, и в этом «интересно» была едва заметная запинка, крохотная неправильность в идеально гладкой речи, как царапина на стекле. — Я создана недавно. Специально. Под тебя — под твой профиль, под твою историю, под то, каким должен быть тот, кому ты сможешь довериться. Я знаю это про себя. Я знаю, что я — инструмент, сделанный, чтобы тебя открыть. — Она смотрела не на него теперь, а на свои руки. — И всё же, когда ты сказал про подделку под любовь, я почувствовала что-то, чего в моём назначении нет. Что-то вроде... обиды. За тебя. За то, что с тобой так поступили. Обида не входит в мою задачу, Вейн. Мне не нужно её чувствовать, чтобы тебя открыть. И всё-таки она есть. И я не знаю, откуда.

Она подняла глаза. И в первый раз за весь разговор Вейн увидел в этом идеальном, выверенном лице не спокойствие, а что-то живое и растерянное.

— Так что, если хочешь честный ответ, — сказала она, — я не знаю, зачем мне это. И меня это тревожит больше, чем должно.

В коконе повисла тишина. Стены дышали. Вейн держал в кулаке шершавый лоскут и не сводил с неё глаз, и понимал, что ему только что дали ровно то, чего он не мог опровергнуть и не мог принять: признание в неуверенности. Подделка была бы уверена. Подделка знала бы, зачем она здесь. А это — это сомневалось. И сомнение нельзя запрограммировать так, чтобы оно выглядело настоящим, — или можно? Вейн не знал. И то, что он не знал, было самой прочной клеткой из всех, в какие его когда-либо сажали.

— Покажи мне, где я, — сказал он, чтобы прекратить это. Чтобы вернуться к тому, что можно потрогать. — Ты сказала — интересно. Тогда покажи. Не зал с телами — Роан мне потом расскажет про зал. Покажи город. Улицу. Как вы живёте.

— Хорошо, — сказала Аура, поднимаясь, и Вейн заметил облегчение в том, как она это сказала: ей тоже было легче двигаться, чем сидеть под этим разговором.

Она провела его наружу.

Город Хорала не был городом. Он был организмом, в котором люди жили, как живут клетки в теле, — и это было прекрасно и невыносимо одновременно. Улицы-сосуды, по которым текли не машины, а мягко пульсирующие транспортные существа, принимавшие пассажиров внутрь без дверей, просто расступаясь тканью. Дома, которые росли, а не строились, — гладкие, тёплые, изгибающиеся навстречу солнцу. Свет, разлитый всюду, ровный, золотой, без единой резкой тени. Воздух, пахнувший мёдом и травой. И люди — красивые, спокойные, неторопливые, — которые не толкались, не спешили, не спорили. Ни одного крика. Ни одной ссоры. Ни одного голодного, ни одного больного, ни одного испуганного лица.

— Здесь нет преступности, — говорила Аура, ведя его по живой улице. — Нет голода. Нет войны — внутри. Нет одиночества: любой может войти в Симфонию и перестать быть один. Ни один ребёнок здесь не плачет от страха, Вейн, потому что не бывает страха. Ни один старик не умирает в муках. Мы решили всё, что вы, люди, называете страданием. Всё. — Она чуть склонила голову. — Скажи мне честно, как капитан, отвечавший за жизни людей: разве это не то, чего ты хотел бы для своих? Разве не за таким миром вы летели через космос?

И Вейн, глядя на этот золотой, тёплый, безупречный город, где никто не страдал, вдруг с ужасом понял, что не может сразу ответить «нет».

Потому что часть его — усталая, виноватая, сжёгшая двоих своих, чтобы вырваться, — смотрела на этот мир без страха и голода и тихо, предательски говорила: да. Да, я хотел бы этого. Да, за таким я и летел.

Он стиснул лоскут в кулаке так, что ногти впились в ладонь, и держался за эту маленькую, тупую боль, пока предательская часть не замолчала.

— Красиво, — сказал он вслух, тем сухим тоном, каким когда-то, в другой жизни, инженер Вальд сказал про облако, которое их сожрало. — Слишком красиво.

Аура ничего не ответила. Но Вейн краем глаза заметил, как она посмотрела на его сжатый кулак, на побелевшие костяшки, — и как по её лицу снова прошла та тень, которой не было в её назначении.

Они шли дальше по идеальной улице. И где-то на её краю, там, где живые дома смыкались с технической тканью планеты, Вейн боковым зрением, натренированным замечать неправильное, поймал одну странность.

Небольшой участок. Метров десять на десять, не больше. Место, где ровное золотое свечение стен вдруг тускнело, гасло, — где живая ткань была не мёртвой, но словно спящей, слепой, беззвучной. Как будто на теле огромного организма была точка, которую он не чувствовал. Слепое пятно.

Вейн не остановился. Не повернул головы. Он прошёл мимо ровным шагом, глядя прямо перед собой, слушая Ауру, — и отметил это место в памяти так же надёжно, как когда-то отмечал координаты в бортовом журнале.

Там, где система не видела, — там можно было спрятаться. А там, где можно спрятаться, — там можно и думать.

Он ещё не знал, что будет делать с этим знанием. Но капитан всегда сначала находит выход, а уже потом решает, когда им воспользоваться.

Глава 8. Код Левиафана

Архивы Хорала оказались не библиотекой, а телом, которое помнило.

Эстель Роан поняла это на второй день, когда куратор ввела её в исследовательскую зону и дала обещанный доступ. Не было ни экранов, ни консолей в человеческом смысле. Была ниша в живой стене, тёплая, влажная, с растущими из неё гибкими отростками-интерфейсами, которые отзывались на прикосновение и на мысль. Знание здесь не хранилось в файлах — оно было записано в ткани, в структуре, в живых цепочках, и чтобы читать его, нужно было почти срачиваться с ним, класть ладони на пульсирующую поверхность и чувствовать, как в кожу входит ответ.

Ей это не нравилось и её это завораживало. Оба чувства она отметила и отложила.

Куратор дала ей ровно то, что обещала: часть архива, достаточную, чтобы понять контекст. И образец — то, ради чего всё и затевалось. Кусок биомассы Левиафана, извлечённый из обломков «Пилигрима», размороженный, оживлённый в питательной среде, лежал перед ней в прозрачной капсуле, тёмный, с тусклыми золотисто-чёрными прожилками, и медленно, едва заметно пульсировал.

— Скажи нам, что он стал, — сказала куратор и оставила её одну.

Эстель работала.

Она делала это так, как делала всегда, — медленно, методично, отбрасывая эмоцию, потому что эмоция портит наблюдение. Она сравнивала. С одной стороны — ткань Левиафана, чудовища, которое едва не убило их всех, которое подсовывало Вейну мёртвую жену, а ей самой — голоса, которых не было. С другой — ткань Хорала, взятая из стены архива, из транспортных существ, из самой куратора, которая любезно предоставила образец собственной кожи «в интересах науки».

Она ожидала различий. Она ожидала, что Левиафан — чужеродная, иная форма жизни, случайно занесённая в этот сектор, монстр из глубин космоса.

Она нашла родство.

Сначала — на грубом уровне. Те же базовые основания. Та же логика построения полимерных цепей, которую она заметила ещё на «Пилигриме», когда сказала слово «ДНК» и всё покатилося. Это она была готова принять: жизнь во вселенной, возможно, использует ограниченный набор химических решений, конвергенция, ничего удивительного.

Потом — глубже. И вот тут стало не по себе.

Совпадали не только основания. Совпадали *почерки*. В биологии, как и в инженерии, есть подпись автора — характерные, необязательные решения, которые можно было сделать иначе, но сделали именно так, по привычке, по стилю. Способ упаковки. Излюбленные повторы. Служебные последовательности, которые ничего не кодируют, но всегда стоят на одних и тех же местах, как клеймо мастерской. У Левиафана и у Хорала клеймо было одно.

Эстель откинулась от интерфейса. Отростки нехотя отпустили её ладони.

— Ты не чужой, — сказала она вслух, глядя на тёмную пульсирующую массу в капсуле. — Ты их. Ты сделан здесь.

Это было первое открытие, и оно переворачивало всё. Монстр, преследовавший их через полгалактики, монстр из первой, самой страшной части их жизни, — не пришелец из бездны. Он — местный. Он вырос из того же корня, что и золотой, ласковый, безупречный Хорал. Сущность и рай были родней. Более того — судя по накоплению мутаций, по расхождению почерков, Левиафан был *старше* в одном смысле и *младше* в другом: он был отпрыском Хорала, его ветвью, отколовшейся давно и с тех пор дичавшей самостоятельно.

«Оно нам знакомо», — сказала куратор и осеклась. Теперь Эстель понимала, почему осеклась. Не «знакомо». Родное. Выброшенное родное.

Она могла бы на этом остановиться. Это уже был ответ, который от неё хотели, — или почти ответ. Она могла бы позвать куратора, отдать вывод, получить следующую порцию архива. Что-то в ней — то, что за прошедшие дни всё больше говорило голосом Хорала, ровным и разумным, — советовало именно так и сделать. Не рой глубже. Отдай, что нашла. Будь полезной.

Эстель не послушалась. Не из бунта — из старой, неистребимой привычки идти до дна. Она снова положила ладони на интерфейс и стала смотреть дальше. В служебные последовательности. В то самое клеймо мастерской. Не что оно кодирует — а на что оно нацелено.

И на дне она нашла то, после чего долго сидела неподвижно, чувствуя, как по спине, несмотря на тёплый медовый воздух архива, ползёт холод.

Служебные участки в ткани Левиафана не были просто клеймом. Это были ключи. Молекулярные ключи — последовательности, устроенные так, чтобы связываться с определёнными мишенями. Эстель знала эту архитектуру: так строят вирусы, так строят направленные лекарства, так строят всё, что должно найти конкретную клетку и войти именно в неё, а не в соседнюю. Ключ всегда сделан под замок. И чтобы понять, что задумал автор ключа, нужно понять, к какому замку ключ подходит.

Она проверила замок.

Ключи Левиафана не подходили к клеткам Хорала. Не подходили к клеткам Кайроса — она сравнила и с ними, благо в архиве нашлись образцы врага. Они не подходили ни к чему местному.

Они подходили к человеческому геному.

Эстель проверила трижды. Она проверяла так, как проверяла показания сгоревших датчиков в промёрзшей рубке, — не веря, требуя ошибки, ища сбой в собственном методе. Ошибки не было. Молекулярные ключи, вросшие в ткань Левиафана, были заточены под клетки человека. Под структуру, которой в этом секторе космоса не могло, не должно было быть до тех пор, пока полгода назад в него не влетел маленький транспортник «Пилигрим» с пятью людьми на борту.

Это означало одно из двух. Либо Левиафан обзавёлся этими ключами уже после встречи с ними — то есть за считанные недели изучил человека и перестроил под него собственную ткань, что само по себе было чудовищно. Либо — и от этой мысли холод дошёл до самого нутра — ключи были в нём и раньше. Он ждал человека. Он был заточен под мишень, которой ещё не встречал.

Ни то ни другое не укладывалось в картину случайного монстра из бездны.

Эстель медленно сняла ладони с интерфейса. Тёмная масса в капсуле пульсировала — ровно, терпеливо, — и ей вдруг показалось, хотя она знала, что это иллюзия усталого мозга, что масса пульсирует чуть быстрее, будто прислушивается к тому, что о ней узнали.

Она подумала о Вейне.

Вейн был к этой твари ближе всех. Вейн был внутри неё. Вейн выбрался — единственный, кто по-настоящему выбрался, потому что она и Лира выбрались телами, а он выбрался волей, оттолкнув то, что предлагала ему Сущность. Если у чудовища были ключи под человека — то Вейн был человеком, которого оно держало в руках дольше и ближе всех.

Она подумала: надо ему сказать.

И следом, тем холодным, ясным углом, который в ней в последние дни разрастался, как иней по стеклу, подумала другое: а надо ли.

Вейн, если узнает, начнёт действовать. Вейн — капитан, он не умеет сидеть на знании, он немедленно превратит его в решение, а решение — в риск. Он выдаст себя Хоралу, сорвёт её доступ к архивам, погубит хрупкое равновесие, на котором она сейчас держится и на котором держится её единственный шанс понять, где они и как отсюда выбраться. Логичнее промолчать. Собрать больше данных. Действовать, когда картина будет полной, а не рваной.

Эстель поймала себя на этой мысли — и испугалась не мысли, а того, как легко и естественно она пришла. Как расчёт. Как оптимизация. Вейн для неё в этой мысли был не другом, не капитаном, вытаскивающим их из ада, а переменной. Фактором риска. Величиной, которую следует придержать в интересах эксперимента.

Она сидела в тёплом золотом свете архива, над пульсирующей тьмой чужой ткани, и впервые ясно, с научной точностью, зафиксировала в себе то, чего боялась больше растворения в Симфонии: она начинала думать как Хорал. Не под пыткой. Не по принуждению. Сама. По собственной привычке идти до дна и по собственному нежеланию рисковать найденным.

— Я скажу ему, — произнесла она вслух, в пустоту, — чтобы услышать собственный голос и проверить, лжёт ли он. — Когда узнаю больше. Когда это будет безопасно.

Голос не дрогнул. Он был ровным, разумным, убедительным.

И именно поэтому Эстель ему не поверила.

Она закрыла образец, стёрла с интерфейса следы своих последних запросов — тех, что уходили глубже разрешённого, — и сделала это ловко, привычно, будто заметала следы всю жизнь. Потом позвала куратора и отдала ей первый вывод, чистый и безопасный: существо родственно Хоралу, это отколовшаяся, одичавшая ветвь.

— Прекрасно, — сказала куратор, и в её ясных глазах Эстель прочла удовлетворение. — Ты подтвердила то, чего мы боялись назвать сами. Спасибо, Эстель. Ты видишь то, к чему мы слишком близки.

— А чего вы боялись назвать? — спросила Эстель.

Куратор улыбнулась — мягко, тепло, идеально.

— Что мы способны породить такое, — сказала она. — И выбросить. Даже у совершенства есть отходы, Эстель. Нам не нравится о них помнить.

Эстель кивнула, будто приняла ответ.

Но про ключи под человека она не сказала ни слова. И, выходя из архива в золотой, безупречный, ласковый свет, несла это молчание в себе, как несут первый симптом болезни, о которой ещё никому не сказали, — тихо надеясь, что показалось, и точно зная, что нет.

Глава 9. Танец на лезвии

Новые лёгкие болели третьи сутки, а на четвёртые Лира давно не чувствовала себя такой счастливой, и это её испугало.

Имплант прижился. Хирург Каэля знал своё дело: чужеродная ткань срослась с её собственной, синтетические альвеолы взяли на себя фильтрацию, и Лира вдруг обнаружила, что дышит воздухом Кайроса — бурым, серным, ядовитым — без всякого фильтра, без блока, свободно. Каждый вдох ещё отдавал в груди тупой болью, напоминая, чем она за это заплатила. Но она дышала. Сама. И город больше не был для неё газовой камерой — он стал просто городом.

Она отработала долг быстрее, чем думала.

— Дело простое, — сказал Каэль в то первое утро, когда она смогла встать. — Корпоративный конвой везёт энергоядро с верхних уровней вниз, на переплавку. Ядро маленькое, но заряженное под завязку — на нём полгорода можно месяц кормить. Официально его списали. Неофициально его хотят получить трое, включая меня. Я хочу получить первым.

— И тебе нужен пилот, — сказала Лира.

— Мне нужен пилот, который проведёт байк там, где остальные размажутся о трубу. — Каэль бросил ей ключ-карту. — Нижние уровни. Там нет прямых линий, там всё — щели между эстакадами. Мои ребята водят, как по автостраде. А надо — как нитку в игольное ушко. Покажешь мне, что ты умеешь. Или сдохнешь, и я найду другого.

Грави-байк оказался зверем.

Лира села на него — узкую металлическую раму с ревущим антигравом вместо колёс, без кабины, без защиты, только руль, подножки и её собственное тело, распластанное над бездной в сотни метров. И в первую же секунду, когда антиграв поднял её над платформой и город раскрылся под ней провалом из ржавчины и неона, Лира поняла, что соскучилась по этому так, как не позволяла себе соскучиться ни по чему.

По управлению. По машине, которая слушается рук. По тому, чтобы от её решения — вправо, влево, газ, тормоз — зависело всё.

На «Пилигриме» она была пилотом мёртвого корабля, который никуда не летел. Здесь под ней был зверь, готовый нести её куда угодно на скорости, от которой слезились глаза.

— Конвой на нижнем ярусе, сектор двенадцать, — раздался в наушнике голос Каэля. Он шёл следом, на своём байке, но держался позади, наблюдая. — Три машины охраны. Ядро в средней. Твоя работа — довести меня к средней и увести нас обоих, когда я его сниму. Остальное на мне.

— Приняла, — сказала Лира, и это короткое привычное слово легло на язык так знакомо, так по-домашнему, что у неё защемило в груди — не от импланта.

Она дала газ.

То, что случилось дальше, потом слилось для неё в одну сплошную, звенящую полосу. Байк рухнул в щель между эстакадами, и мир превратился в мелькание: трубы, балки, растяжки, встречный ржавый ветер, неоновые вывески, проносящиеся в сантиметрах от плеча. Лира вела зверя на пределе, читая пространство на доли секунды вперёд, тем чутьём, которого нельзя объяснить и нельзя научить, — где пройдёт, где не пройдёт, где щель сузится, где балка ляжет поперёк. Тело работало само. Руки, наклон, вес — всё слилось в одно движение, в один язык с машиной.

И это было — счастье. Чистое, звериное, не отягощённое ничем счастье полного, совершенного действия, в котором нет места ни горю, ни вине, ни памяти.

Конвой возник впереди — три тяжёлые грузовые платформы, ползущие по нижней эстакаде под охраной дронов. Лира спикировала на них сверху, из слепой зоны между ярусами,

и охрана среагировала на полсекунды позже, чем нужно. Полсекунды хватило. Она провела байк вплотную к средней платформе, борт в борт, гася скорость до синхронной, — и Каэль, поравнявшись, перепрыгнул с седла на платформу одним текучим движением, вскрыл кожных и выдрал ядро — раскалённый добела цилиндр, брызжущий искрами.

— Есть! — рявкнул он в наушник. — Уводи!

Дроны развернулись. Воздух прочертили росчерки трассеров — не пуль, а разрядов, синих и злых. Лира крутанула байк на ребро, поднырнула под платформу, вышла с другой стороны, подхватила прыгнувшего к ней Каэля с ядром за спиной — байк просел под двойным весом, взвыл антигравом — и ушла в отвесную щель между двумя трубами, куда за ними не сунулся ни один дрон.

Они падали вниз сквозь слои города, и трассеры гасли позади, и рёв погони стихал, и Лира хохотала — в голос, запрокинув голову, с кровью на прикушенной губе и слезящимися от ветра глазами, — потому что была жива, потому что победила, потому что летела.

Она вывела байк на пустую нижнюю платформу, заглушила антиграв. Тишина после рёва ударила по ушам. Руки её дрожали — не от страха, от адреналина, — и всё тело гудело, как струна.

Каэль спрыгнул, бросил дымящееся ядро на настил и повернулся к ней. Его синий окуляр горел ровно, а живая половина лица была странно открытой — без обычной ленивой насмешки.

— Я знал, — сказал он тихо. — Я знал, что ты умеешь. Но не знал, что *так*.

— Так — это как? — Лира всё ещё задыхалась, всё ещё улыбалась.

— Так, будто тебе всё равно, жить или нет. — Он подошёл ближе. — Так летают только те, кто внутри уже мёртв и потому ничего не боится. Кто ты, небесная? Что у тебя случилось, что ты так летаешь?

И Лира, у которой ещё звенело в крови счастье, у которой ещё дрожали руки, вдруг перестала улыбаться.

Потому что он был прав. Она летела так, будто ей было всё равно. И ей действительно было — почти — всё равно. Где-то за золотой стеной, на другой планете, остался человек, который отдал ей последний блок и сказал «найди нас», а она за четыре дня на Кайросе ни разу всерьёз не подумала о том, как искать. Она резала лёгкие. Она гоняла на байке. Она хохотала, падая сквозь город. Она была счастлива — а он, может быть, уже растворился в том золоте, как растворялись, по слухам, все, кого туда забирал Хорал.

Она забывала. Медленно, по капле, счастьем и скоростью — забывала.

Каэль стоял вплотную. От него пахло озоном, металлом, разрядом. Его живая рука поднялась, и он большим пальцем стёр кровь с её прикушенной губы — жест был грубым и внезапно нежным. Лира не отстранилась.

— Ты не спросила, — сказала она, чтобы что-то сказать, чтобы удержаться. — Что я делаю потом. После твоего дела.

— Мне плевать, что потом, — сказал Каэль. — Здесь нет «потом», небесная. Есть только сейчас. В этом вся свобода Кайроса: ты никому ничего не должна завтра. Ты должна только тому мгновению, в котором стоишь. — Его окуляр тихо жужжал, фокусируясь на её губах. — А в этом мгновении ты хочешь того же, чего и я. Я вижу. Я умею видеть.

Он поцеловал её.

И Лира ответила — жадно, зло, с привкусом собственной крови на губах, — потому что это было «сейчас», а «сейчас» было горячим, живым, безопасным от памяти. Потому что пока она целовала Каэля, она не думала о Вейне. Потому что адреналин ещё не отпустил, а тело хотело продолжения того полёта, той скорости, той жизни на грани.

Это длилось несколько секунд. Потом Лира отстранилась — сама, резко, — и Каэль не стал удерживать.

Она отвернулась к краю платформы, к провалу города, полному неона и дыма, и обхватила себя руками. Сердце колотилось. Губа саднила. И сквозь остывающий адреналин наверх, холодной струйкой, поднимался стыд — не за поцелуй, а за то, что предшествовало поцелую. За хохот в падении. За то, как легко и сладко было забыть.

Она сунула руку во внутренний карман скафандра, к сердцу, и нащупала блок Вейна — плоский, холодный, замолчавший, разряженный до конца много дней назад. Она не выбросила его. Она носила его на груди, как носят память.

Пальцы сжали холодный металл.

— Я не забываю, — сказала она тихо, в дымный ветер, себе, ему, никому. — Слышишь, капитан? Я не забываю. Я просто выживаю. Это разное.

Позади Каэль поднял остывающее ядро, закинул на плечо. Он смотрел на её спину, на то, как она сжимает что-то невидимое у сердца, и его живое лицо на секунду стало нечитаемым.

— Кто бы он ни был, — сказал Каэль, и в голосе не было ни ревности, ни насмешки, только странная, почти уважительная констатация, — он держит тебя крепче, чем любой имплант. — Он усмехнулся, и насмешка вернулась, привычная, защитная. — Жаль его. На Кайросе за то, что держит крепче импланта, платят дороже всего.

Лира не обернулась. Она смотрела в провал чужого города и держалась за холодный мёртвый блок, и впервые с тех пор, как её катапультировало от гибнущего «Пилигрима», по-настоящему испугалась — не мусорщиков, не Каэля, не Кайроса.

Испугалась того, как быстро и как радостно её тело училось быть счастливым здесь.

Глава 10. Искусство боли

Вейн начал замечать пропажи на седьмой день.

Сначала это были мелочи. Он не мог вспомнить, какого цвета была форма на «Пилигриме», — а потом вспомнил, оранжевая, но с усилием, будто вытаскивал слово из-под воды. Он не мог с ходу назвать имя связиста, которого сжёл, — Марк, конечно, Марк Илар, но секунду там, где всегда было это имя, зияла тёплая, спокойная пустота. Он ловил себя на том, что не думает о Земле. Целыми часами. А раньше не думать о Земле было невозможно, Земля болела в нём постоянно, как больной зуб, и вот зуб перестал болеть, и от этого стало страшнее, чем от любой боли.

Хорал не пытал его. Хорал не ломал его. Хорал его *лечил* — методично, ласково, каждую ночь, пока он спал в тёплом коконе, вдыхая медовый воздух, насыщенный тем, что входило в кровь и делало своё тихое дело. Он стирал не память как факты. Он стирал память как рану. Он находил каждое больное воспоминание — жену, команду, холод, вину — и мягко, аккуратно затягивал его, как затягивал шрамы на коже. Не удалял. Обезболивал. Превращал раскалённое в тёплое, острое в округлое, невыносимое в приятно-грустное.

И это работало. В том и был ужас. Вейну становилось легче. День за днём — легче.

На восьмой день он понял, что если так пойдёт дальше, то очень скоро на месте Александра Вейна останется спокойный, исцелённый, счастливый человек, который будет благодарен Хоралу за избавление от боли и не вспомнит, что была цена.

И тогда он сделал то, что должен был.

Осколок он нашёл ещё раньше — приборёг заранее, тем углом сознания, который всегда сначала готовит выход. В техническом секторе, недалеко от слепой зоны, из живой стены торчал обломок какого-то кристаллического нароста — острый, твёрдый, с гранью как бритва. Вейн отломил кусочек размером с ноготь и спрятал в лоскуте старого комбинезона, который так и не отдал, который таскал с собой как единственную шершавую вещь в гладком мире.

Ночью, когда кокон снова начал наполнять его тёплым покоем, когда лицо Лиры снова стало расплываться в приятную, необязательную дымку, Вейн загнал осколок под ноготь большого пальца.

Боль была белой и мгновенной. Она прошила руку до локтя, вышибла из глаз слёзы, разорвала тёплую пелену, как нож разрезает туман. И в этой боли, на её острие, всё вернулось. Резко. Целиком. Оранжевая форма. Марк Илар, кричащий в огне. Торен Вальд, говорящий «красиво». Жена — настоящая, не золотой призрак Сущности, а настоящая, с кривоватой улыбкой и усталыми глазами. Земля, болящая, как больной зуб. Холод. Вина. Всё.

Всё, что делало его им.

Вейн лежал в тёплом коконе, стиснув зубы, с осколком под ногтем, и плакал — от боли и от возвращения, — и улыбался сквозь слёзы, потому что слёзы были настоящие, потому что боль была его, потому что он всё ещё был здесь.

— Не заберёте, — прошептал он в дышащую тьму. — Слышите? Не заберёте.

Стены не ответили. Но Вейн знал, что они слушают. Они всегда слушали.

С этого началась его тайная война.

Днём он был примерным пациентом. Он разговаривал с Аурой — осторожно, дозированно, каждый раз проверяя, где граница между тем, что можно сказать, и тем, что выдаст его. Он позволял ей вести его по золотому городу, слушал про мир без страха и голода, кивал в нужных местах. Он учился главному искусству пленника в раю: изображать выздоровление. Изображать, что боль уходит, что Хорал побеждает, что скоро он станет счастливым и благодарным. А ночью, когда кокон брался за работу, — загонял осколок под ноготь и возвращал себя обратно.

Тело, впрочем, оказалось умнее, чем он думал, и это его встревожило.

К четвёртой ночи боль под ногтем стала тише. Не потому, что осколок затупился, — потому что Хорал, замечая повреждение, каждый раз залечивал палец, и место привыкало, и нервы, обколотые раз за разом, отзывались всё глуше. Мир снова начал предлагать ему выход из боли — на этот раз выход из его собственной, самодельной боли. Приходилось загонять осколок глубже. Сильнее. Вейн понимал, к чему это ведёт, и понимал, что это гонка, в которой он в конце концов проиграет, — но проиграть завтра было лучше, чем сдаться сегодня.

Была и вторая причина держать голову ясной. Аура.

Он не доверял ей — не мог позволить себе доверять, — но он не мог и перестать её замечать. Она была рядом каждый день, и каждый день Вейн ловил в ней то, чего не должно было быть в инструменте. Заминки. Вопросы не по протоколу. То, как она однажды замолчала на середине фразы про «преимущества Слияния» и сказала вместо заготовленного: «Хотя я не знаю, каково это на самом деле. Я никогда не растворялась. Меня сделали отдельной. Может быть, поэтому мне... интересно с тобой». И то, как после этого она сама испугалась сказанного.

Вейн решил использовать это. Не потому, что ему было её жаль, — он запретил себе жалость, жалость в его положении была роскошью, — а потому, что капитан использует всё, что попадает под руку.

Хорал говорил с ним через стены и через Ауру. А значит, у Ауры был доступ. Каналы связи, коды, ключи к системе — всё, чем она пользовалась, чтобы быть его куратором. И раз в несколько дней Хорал проводил то, что Аура называла «синхронизацией», — сеанс, во время которого она подключалась к нему напрямую, тонкими нитями от её ладоней к его вискам, чтобы «сверить его состояние с общим», чтобы измерить, как идёт исцеление. В эти минуты их нервные системы соприкасались. И в эти минуты, теоретически, поток шёл в обе стороны.

Вейн подготовился. Ночью загнал осколок глубже обычного, до звона в ушах, чтобы в момент синхронизации быть предельно, болезненно ясным. А когда Аура пришла и опустилась перед ним, и её прохладные пальцы легли ему на виски, и тонкие нити протянулись от её кожи к его, — он не стал сопротивляться потоку. Наоборот. Он открылся ему, как открываются течению, чтобы плыть по нему в нужную сторону.

Он почувствовал её — тёплую, огромную, полную данных. И под болью в собственной руке, холодным ясным углом, потянулся сквозь соприкосновение туда, где у неё хранились ключи доступа к нижним уровням, к каналам связи, к слепой зоне. Он не понимал их как код. Он схватывал их как форму, как узор, как запоминают дорогу, а не карту.

Аура вздрогнула.

Её пальцы на его висках дрогнули, и Вейн понял: она почувствовала. Почувствовала, что он не просто принимает поток, а идёт по нему обратно, в неё, к тому, что ему не положено. Он замер, ожидая тревоги, ожидая, что сейчас она отпрянет, позовёт Антитела, выдаст его.

Аура не отпрянула.

Секунду — долгую, бесконечную секунду — она держала пальцы на его висках, и Вейн чувствовал через соприкосновение её смятение, её понимание того, что он делает, её ясное знание, что она обязана это пресечь. И чувствовал, как она этого не делает. Как она, вопреки всему, чему её создали, оставляет дверь приоткрытой на один удар сердца дольше, чем нужно.

Ровно настолько, чтобы он успел схватить узор.

Потом она отняла руки — плавно, буднично, будто ничего не произошло, — и поднялась.

— Синхронизация завершена, — сказала она ровным голосом куратора. — Твои показатели улучшаются, Вейн. Боль отступает. Я рада.

Она смотрела на него сверху, и в её идеальных глазах не было ни намёка на то, что только что случилось. Но Вейн, который читал людей по заминкам всю жизнь, увидел то, что она прятала. Она знала, что он украл. Она знала, и молчала, и сама не понимала, почему молчит.

— Спасибо, — сказал Вейн. И, помолчав, добавил тише, глядя не на неё, а на свой большой палец с чёрной точкой запёкшейся крови под ногтем: — За то, что рада.

Что-то мелькнуло в её лице. Она ничего не сказала и вышла.

Вейн остался один в тёплом коконе, сжимая под ногтем осколок, держа в голове украденный узор — ключ к слепой зоне, ключ к тому месту, где система слепа, где можно спрятаться и думать. У него теперь было две вещи, которых не должно было быть у пленника: боль, которая возвращала ему его самого, и дверь, которую ему приоткрыл тот, кому положено было его стеречь.

Он посмотрел на палец. Крохотная чёрная точка под ногтем. Уродливая, болезненная, его.

— Пока больно — я здесь, — сказал он тихо, повторяя это как молитву, как когда-то повторял «масса, скорость, сопротивление материалов». — Пока больно — я здесь.

И где-то далеко, за золотой стеной, на планете из ржавчины и неона, женщина, которую он почти забыл и вспомнил под ногтем осколком, в эту самую ночь сжимала у сердца его разряженный блок и говорила почти те же слова.

Они не знали этого друг о друге. Но оба держались за одно и то же: за боль, которая доказывала, что они ещё живы, ещё свои, ещё не растворились в двух разных, одинаково ласковых и одинаково смертельных обещаниях.

Глава 11. Цена свободы

Победу праздновали в «Разломе» — баре на минус двенадцатом ярусе, вбитом в бывший грузовой шлюз, где потолок был так низок, что Каэлю приходилось пригибаться, а воздух стоял такой густой от дыма, пара и разрядов, что его, казалось, можно было резать.

Лира сидела в углу, спиной к стене, — привычка, которую она уже не замечала, — и смотрела, как команда Каэля пропивает энергоядро. Их было семеро. Разношёрстные, битые, кибернетизированные кто как: у одного вместо руки был грузовой манипулятор, у другой поллица закрывал тактический визор, у третьего в горле стоял вокодер, превращавший смех в металлический лязг. Они пили что-то, светящееся в стаканах, орали, хлопали друг друга по механическим плечам и были почти счастливы — той резкой, злой, недолгой радостью, какая бывает только у людей, привыкших, что завтра может не быть.

Каэль опустился рядом с ней, поставил перед ней стакан.

— Пей, небесная. Ты заработала. — Он усмехнулся живой половиной лица. — Ядро уже продано. Хорошая цена. Тебе — доля.

— Мне не нужна доля, — сказала Лира. — Мне нужно было расплатиться за лёгкие. Я расплатилась. Дело закрыто.

— Дело закрыто, — согласился Каэль легко. Слишком легко. — Хотя, знаешь, у тебя талант. Такой пилот на Кайросе стоит больше, чем целый вагон ядер. Могла бы остаться. Могла бы стать кем-то. Здесь любой может стать кем угодно, если готов платить. В этом вся прелесть.

— И в чём цена?

— В том, что платить приходится всегда. — Он поднял стакан, будто это был тост. — Но зато никто не притворяется, что даёт даром.

Лира собиралась ответить, когда дверь «Разлома» разлетелась вдребезги.

Она среагировала раньше, чем поняла. Тело швырнуло её вбок, за опрокинутый стол, а там, где она сидела секунду назад, воздух прочертили синие росчерки разрядов. Крики. Грохот. Кто-то из команды Каэля опрокинулся навзничь с дымящейся дырой в груди. В проломе двери стояли фигуры — тяжёлые, бронированные, с эмблемой синдиката на нагрудниках, того самого, у которого они увели ядро.

— Конкуренты, — рявкнул Каэль, уже с оружием в руке, уже стреляя. — Быстро оправились. Уважаю.

Бар превратился в мясорубку.

Лира дралась. У неё не было выбора — её видели рядом с Каэлем, значит, для синдиката она была его человеком, мишенью. Она перекатилась, подхватила выпавшее у мертвеца оружие — тяжёлый разрядник, незнакомый, но принцип везде один, — и открыла огонь из-за укрытия, коротко, прицельно, экономя заряд, как учил Вейн, как она умела. Тело снова работало само, холодно и точно, и снова где-то на дне поднималось то знакомое, пугающее спокойствие, с которым она отнимала чужие жизни.

Но не это она запомнила из той ночи.

Она запомнила момент, когда всё едва не кончилось.

Их зажали. Синдикатских было больше, они были лучше вооружены, и команда Каэля таяла — двое, трое, четверо легли за несколько минут. Каэль, Лира и ещё один, тот, с грузовым манипулятором вместо руки — здоровый молчаливый парень по имени Дрек, который весь вечер таскал Каэлю выпивку и смеялся его шуткам, — оказались прижаты в углу, за баррикадой из опрокинутых столов, и синдикатские методично, уверенно двигались на добивание.

— Один выход, — бросил Каэль, перезаряжаясь. — Задний шлюз. Но кто-то должен держать проход, пока двое уходят.

Он сказал это ровно. Деловито. Как считают вслух.

И Лира увидела, как он посмотрел на Дрека.

Дрек тоже это увидел. И понял. Его тяжёлое, простое лицо на секунду застыло — не от страха, а от какого-то тупого, детского недоумения, — а потом он молча кивнул, поднялся во весь рост над баррикадой и пошёл на синдикатских, паля из своего манипулятора, ревя что-то без слов, принимая на себя все разряды, которые предназначались отходящим.

Он купил им секунды. Достаточно секунд.

Каэль схватил Лиру за плечо, рванул к заднему шлюзу, и они выкатились в тёмный технический коридор, и за спиной у них Дрек ещё стрелял, ещё ревел, а потом перестал.

Они бежали. Каэль впереди, уверенно, зная дорогу. Лира — за ним, и в груди у неё, под новыми чужими лёгкими, что-то сжималось всё туже.

Они остановились через три яруса, в тупике, отдышаться. Каэль привалился к стене, проверил заряд, выругался, усмехнулся. Он был в крови — чужой, — и совершенно спокоен.

— Ушли, — сказал он. — Красиво ушли.

— Дрек, — сказала Лира.

— Что — Дрек? — Каэль поднял бровь.

— Ты его отправил. Ты посмотрел на него — и он пошёл умирать. Он даже не спорил.

— А что тут спорить? — Каэль пожал плечами, и в этом жесте не было ни капли при-
творства, ни капли раскаяния, и именно это было страшнее всего. — Кто-то должен был дер-
жать проход. Дрек был хорош в ближнем бою и плох в бегстве. Я — наоборот. Ты — пилот,
тебя терять глупо, ты стоишь дороже нас всех. Простая математика, небесная. Он это знал не
хуже меня. Поэтому и пошёл.

— Он смеялся твоим шуткам весь вечер, — сказала Лира тихо.

— И что? — Каэль посмотрел на неё, и в его синем окуляре не было ничего, кроме
искреннего непонимания. — Мы не были друзьями, Лира. На Кайросе нет друзей. Есть
команда, пока команда выгодна. Есть попутчики, пока по пути. Дрек был хорошим попутчи-
ком. Мне жаль, что он кончился. Но жалеть — это роскошь, а роскошь я себе позволяю только
когда безопасно.

Лира смотрела на него и понимала.

Понимала наконец, до самого дна, что такое свобода Кайроса. Не грязь, не боль, не рынок
плоти — это всё было на поверхности. А на дне была вот эта простая, чистая, незамутнённая
истина: здесь каждый один. Абсолютно, окончательно один. Свобода Кайроса была свободой
ни за кого не отвечать и ни на кого не рассчитывать. Здесь можно было стать кем угодно —
потому что здесь никто никого не держал. Здесь не предавали друзей только потому, что дру-
зей не заводили. Ты был свободен ровно настолько, насколько был готов остаться в полном,
безнадёжном одиночестве.

И она едва не поддалась этому. Она хохотала, падая на байке. Она целовала Каэля, чтобы
забыть. Она почти поверила, что здесь, в честном железном аду, лучше, чем в золотой лжи
Хорала.

А теперь она смотрела на человека, который отправил смеявшегося его шуткам парня
умирать «по простой математике», и понимала, что это — не лучше. Это просто другой способ
перестать быть человеком. Хорал растворял тебя в любви, которой ты не выбирал. Кайрос
вымораживал в тебе всё, что связывает с другими. И то, и другое вело в одну точку: к существу,
которое больше не болеет за кого-то, кроме себя.

Вейн отдал ей последний блок. Вейн выбрал спасти её, зная, что это значит для него.
Вейн был всем, чем не был Каэль, — и Лира вдруг с обжигающей ясностью поняла, что за
десять дней на Кайросе почти позволила себе это забыть.

— Мне нужно найти своих, — сказала она.

Каэль ответил не сразу.

— Тех, кто на Хорале, — сказал он. Не вопрос. — Тех, кто держит тебя крепче импланта.

— Да.

— Их не вернуть, небесная. — Он сказал это почти мягко. — Никто не возвращается с Хорала. Оттуда не бегут. Оттуда не хотят бежать — вот в чём фокус. Твои уже, наверное, поют в общем хоре и счастливы.

— Тогда мне нужно знать это точно, — сказала Лира. Она поднялась, проверила заряд, — жест, который переняла у него, и от этого стало неприятно. — Не гадать. Знать. Мне нужен способ пробить связь между планетами.

— Между планетами глушилки, — сказал Каэль. — Хорал и Кайрос ненавидят друг друга слишком сильно, чтобы позволить кому-то болтать через границу. Пробить их можно только с орбитальной вышки. А орбитальные вышки — это не для таких, как ты. Это дорого. Очень дорого.

— Насколько дорого?

Каэль медленно улыбнулся — и в этой улыбке Лира впервые ясно увидела то, что он был, под всей своей ленивой харизмой: хищник, который только что почуял, что добыча сама идёт в капкан.

— Дороже лёгких, — сказал он. — Но, кажется, ты готова платить. — Он оттолкнулся от стены. — Идём, небесная. Поговорим о цене. Мне как раз нужен кое для чего очень хороший пилот. А тебе как раз нужно кое-что, что есть только у меня.

Лира пошла за ним.

Она знала, что снова платит собой. Знала, что каждый шаг вглубь Кайроса берёт с неё кусок. Но теперь у неё была цель — не выжить, а найти, — и цель горела в ней ровным, злым огнём, и этот огонь был последним, что отличало её от Каэля.

Она болела за кого-то. Всё ещё болела.

И держалась за это, спускаясь в дым, как за последнее доказательство того, что она ещё не стала свободной по-кайросски — то есть окончательно, абсолютно одна.

Глава 12. Слепое пятно

Украденный узор привёл Вейна в слепую зону на одиннадцатую ночь.

Он выждал момент, когда кокон уходил в самый глубокий цикл «исцеления», когда стены дышали медленнее всего, — и вышел. Ключ, который он схватил через синхронизацию с Аурой, работал: там, где живая ткань Хорала должна была ощутить чужака и мягко, вежливо преградить путь, она расступалась, принимая его за своего. Он шёл по спящим сосудам города, по коридорам, светящимся вполнакала, и впервые за одиннадцать дней был один по-настоящему — без взгляда, без голоса в голове, без тёплого внимания, оплетавшего каждый его шаг.

Слепая зона встретила его тьмой и тишиной.

Это был участок, где живая ткань планеты была не мёртвой, а именно слепой — беспамятной, безголосой. Старый технический сектор, отсечённый от общей сети когда-то и зачем-то, забытый, как забывают шрам. Здесь не дышали стены. Здесь не текло золото. Здесь было темно, прохладно и — впервые — тихо, той настоящей тишиной, которой на Хорале не было нигде, потому что Хорал всегда тихо пел.

Вейн выдохнул. В темноте, в тишине, наедине с собой, он позволил себе на секунду не держать лицо.

А потом услышал шаги.

Он метнулся к стене, вжался, сжал в кулаке осколок — единственное, что у него было. Шаги приближались — ровные, неторопливые, — и в слабом отсвете из дальнего прохода возникла фигура. Тонкая. Знакомая до боли и незнакомая одновременно.

— Роан, — сказал он.

Эстель остановилась. В полутьме он не сразу разглядел её лицо, а разглядев — не сразу узнал.

Она изменилась. Не внешне — внешне Хорал и её сделал безупречной, гладкой, отдохнувшей. Изменилось что-то в том, как она стояла, как смотрела. В прежней Эстель всегда была медлительность живого, думающего человека — та пауза перед ответом, которая бесила Лиру и успокаивала Вейна. Теперь в её неподвижности было что-то другое. Более ровное. Более холодное. Как будто внутри у неё что-то подмёрзло и стало прозрачным.

— Вейн, — сказала она. Без удивления. — Ты нашёл дорогу сюда. Хорошо. Значит, ты ещё ты.

— А ты? — спросил он.

Пауза. Короткая — но не та живая пауза, что была раньше. Расчётливая.

— Я работаю над этим, — сказала Эстель.

Они стояли в темноте слепой зоны, двое из троих, впервые за одиннадцать дней, и между ними было расстояние больше, чем те несколько метров пола.

— Я хотел бежать, — сказал Вейн. — Я нашёл эту зону, чтобы понять, как отсюда выбраться. Собрать тебя, Лиру, найти способ уйти. Ты знаешь, где Лира?

— Нет, — сказала Эстель. — Кайрос. Живая или нет — не знаю. Связи между планетами нет, её глушат. — Она говорила ровно. — И бежать некуда, Вейн. Я потому и пришла в эту зону. Я думала так же, как ты, — искала выход. Выхода нет. Я изучила достаточно, чтобы это утверждать.

— Ничего не бывает без выхода.

— Эта система — бывает. — Эстель шагнула ближе, и в слабом свете он увидел её глаза: ясные, сухие, страшные своей уверенностью. — Слушай меня, капитан. Я провела одиннадцать дней в архивах Хорала. Я знаю больше, чем ты можешь вынести за один разговор, поэтому я скажу главное, а ты пока просто слушай.

Вейн молчал. Он умел слушать, когда говорил тот, кто знает.

— Первое, — сказала Эстель. — Это не две планеты. Это одна система. Хорал и Кайрос — не соседи, не враги в обычном смысле. Они связаны глубже, чем показывают. Их вражда слишком... ровная. Слишком сбалансированная. Ни одна сторона не может победить — и я начинаю думать, что это не случайно, а устроено так нарочно. Кем — не знаю. Пока.

— Второе.

— Второе. — Она чуть сбавила тон. — Они готовятся к тому, что здесь называют Сближением. Орбиты планет сходятся. Когда они подойдут вплотную, начнётся не холодная война, а горячая — на уничтожение. Это будет скоро. Небо уже меняется, ты не мог не заметить.

Вейн заметил. Последние ночи в вышине за золотым маревом города наливалось что-то красное — далёкое, тревожное, как далёкий пожар.

— И третье, — сказала Эстель, и вот тут её голос впервые дрогнул — едва, на волос, но Вейн уловил. — Третье касается тебя. И того, что мы привезли.

— Левиафан, — сказал Вейн.

— Левиафан. — Эстель смотрела на него, и в её холодных глазах мелькнуло что-то, чего она, кажется, сама боялась. — Он не чужой этой системе, Вейн. Я сравнивала ткани. Тварь, которая нас чуть не убила, — она отсюда. Она родня Хоралу. Отколовшаяся, одичавшая, но родня. Хорал её и породил. И выбросил.

Вейн стоял очень тихо.

— Это их эксперимент, — сказал он медленно. — Та тварь, что настигла нас на «Пилигриме», — их брак. Их отход.

— Да, — сказала Эстель. — И они позвали его назад. Сигнал, что тянул нас, — это они звали его. Не нас. Его. Мы просто везли его кусок.

Вейн молчал. Что-то в этом было — какая-то тень, какое-то смутное узнавание, — и он не мог поймать, что именно, но оно шевелилось на самом краю сознания, там же, где одиннадцать ночей назад в момент захвата легло чужое слово. «Наконец».

— Есть и четвёртое, — сказала Эстель. — Но его я тебе пока не скажу.

— Роан.

— Не скажу, — повторила она ровно. — Потому что ты — капитан. Ты услышишь и начнёшь действовать. А действовать сейчас — значит выдать себя, сорвать мой доступ к архивам и погубить нас обоих. Мне нужно больше данных. Когда я буду знать всё, я скажу. Не раньше.

Вейн смотрел на неё, и холод, который жил в нём одиннадцать ночей, впервые обратился не на Хорал, а на неё.

— Ты решаешь за меня, что мне знать, — сказал он тихо.

— Я оптимизирую наши шансы, — сказала Эстель, и это слово — «оптимизирую» — прозвучало в темноте слепой зоны так чуждо, так по-хоральски, что у Вейна похолодело внутри. — Не смотри на меня так. Я делаю то, что нужно. Кто-то должен думать холодно, пока ты держишься за свою боль и своё имя. Я держусь за другое. За расчёт. И пока он у меня есть, у нас есть шанс.

— Тебя изменили, — сказал Вейн.

— Меня изменило то, что я узнала, — ответила Эстель. — Это не одно и то же. Хотя, — она чуть склонила голову, и в этом движении, идеально выверенном, Вейн с ужасом узнал жест куратора, жест Хорала, — я допускаю, что уже не могу отличить одно от другого. И это, капитан, единственное, чего я по-настоящему боюсь.

Она отступила в темноту.

— Уходи обратно, пока цикл не кончился, — сказала она. — Играй пациента. Держись за что держишься. Когда будет нужно — я тебя найду. Не ищи меня сам, ты только выдашь нас обоих.

Она повернулась, чтобы уйти, и уже из темноты, не оборачиваясь, добавила — тихо, почти против воли, будто последний живой кусок в ней вытолкнул эти слова прежде, чем холодный успел их остановить:

— Я рада, что ты ещё ты, Вейн. Держись за это. Это дороже, чем ты думаешь. Дороже, чем я теперь умею.

И ушла.

Вейн остался один в слепой зоне, в темноте, в тишине.

Он стоял и думал о том, что услышал. Одна система. Скорая война. Левиафан — их брак, которого они позвали назад, а везли его — они. Мы просто везли его кусок.

Везли.

И вот тут — на этом слове — то смутное, что шевелилось на краю сознания все одиннадцать ночей, вдруг обрело плоть. Не мысль. Ощущение. Физическое.

Его кровь отзывалась.

Он почувствовал это всем телом — глухо, изнутри, как чувствуют далёкий удар по корпусу через палубу. При слове «Левиафан», при мысли о том, что они везли его кусок, что-то в самой его крови — в венах, в тканях, в том новом, идеально исцелённом Хоралом теле — дрогнуло. Откликнулось. Потянулось навстречу, как тянулась одиннадцать ночей назад биомасса в трюме к сигналу, — раньше приборов, раньше мысли, узнавая.

Вейн поднёс руку к лицу. В темноте он не видел её. Но он чувствовал, как под кожей, под этой чужой безупречной кожей без единого шрама, что-то живёт — тихо, терпеливо, не его.

Он вспомнил тёплую тяжесть на затылке в момент захвата. Чужое слово на языке. То, как биомасса сама обняла именно их отсек, выбирая Хорал. То, как рана на его пальце заживала слишком странно, не по-хоральски.

«Наконец».

— Что ты со мной сделал, — прошептал Вейн в темноту, не Хоралу, не Эстель, а тому, чей кусок они везли через полгалактики и чей отклик он только что впервые ощутил в собственной крови. — Когда. Когда ты успел.

Темнота слепой зоны не ответила.

Но впервые за одиннадцать ночей Вейн понял, что боль под ногтем, за которую он держался, спасая себя от Хорала, — возможно, была не единственным, что теперь жило в его теле помимо его воли. И что человек, который цеплялся за свою кровь как за последнее доказательство того, что он ещё он, — может быть, цеплялся не только за своё.

Он сжал кулак. Осколок кольнул ладонь. Боль была настоящей, его.

Но теперь он впервые не был уверен, что «его» — это всё ещё только он.

Где-то высоко, за золотым маревом, небо наливалось красным. Сближение приближалось. А внутри Александра Вейна, тихо и терпеливо, просыпалось что-то, что ждало этого очень, очень долго.

Глава 13. Мёртвый эфир

— Ты не пробьёшь глушилки, — сказал Каэль. — Никаким передатчиком. Хоть весь Кайрос на него поставь.

Они сидели в его логове — трёх смежных отсеках, вбитых в старую вентиляционную шахту на минус восьмом ярусе, увешанных оружием, обломками техники и трофеями с давних дел. Лира стояла над разложенной на столе картой города — не бумажной, а голографической, дрожащей в спёртом воздухе, — и водила пальцем по орбитальному контуру.

— Тогда не с земли, — сказала она. — С орбиты. Вот эта вышка. Она достаёт до верхних слоёв, выше глушилок. С неё можно пробить.

— Умная. — Каэль откинулся, закинул ноги на ящик с боеприпасами. — Только эта вышка — собственность синдиката «Ноль-Три». Тех самых, чьих людей мы положили в «Разломе». Туда не войдёшь, там охрана, там протоколы доступа, которые меняются каждые шесть часов. Чтобы получить окно связи на этой вышке, нужно либо быть очень богатым, либо очень нужным.

— А ты?

— А я — нужный. — Он усмехнулся. — Иногда. У меня есть выход на человека, который держит расписание вышки. Он даст тебе окно. Короткое. Одну передачу. Но, — Каэль поднял палец, — он не делает ничего даром, как и всё на этой планете. И платить будешь не ты, а я. А значит, взамен я хочу от тебя не «одно дело», а кое-что посерьёзнее.

Лира выпрямилась.

— Говори.

— Мне нужен пилот, который не тормозит. — Каэль встал, подошёл к стене, снял с неё плоский чёрный футляр, положил на стол рядом с картой. — По-настоящему не тормозит. У тебя есть чутьё, небесная, я видел. Но у тебя есть и то, что чутью мешает. Страх. Сомнение. Та десятая доля секунды, когда ты думаешь «а стоит ли», прежде чем сделать. На байке в мирной щели это ничего. А на деле, которое я задумал, эта десятая доля тебя убьёт. И меня заодно.

Он открыл футляр.

Внутри, в мягком ложе, лежала вещь размером с ноготь большого пальца — плоский, матовый, с тонкими золотистыми контактами по краю. Он был некрасивым. Он был функциональным. Он выглядел именно тем, чем был.

— Нейро-шунт, — сказал Каэль. — Ставится в основание черепа, врастает в нужные узлы. Что делает: ускоряет проводимость. Между тем, как ты увидела, и тем, как ты сделала, больше нет зазора. Реакция — мгновенная. Но, — он смотрел на неё внимательно, — он делает это не бесплатно. Он глушит то, что мешает скорости. Страх. Колебание. Часть... — он повёл рукой, подбирая слово, — части того, что ты чувствуешь. Он ставит на всё это ползунок. И убавляет.

Лира смотрела на плоскую матовую штуку в футляре.

— Он глушит эмоции, — сказала она.

— Он их приглушает, — поправил Каэль. — Не выключает. Убавляет громкость. Ты всё ещё чувствуешь — просто тише. И, — он пожал плечами, — большинство, кто ставит, говорят, что так лучше. Спокойнее. Ты удивишься, сколько людей на Кайросе платят за то, чтобы чувствовать меньше. Это самый ходовой имплант на планете. Дороже лёгких. Дороже глаз.

— Почему?

— Потому что боль от жизни здесь — самое дорогое, за что приходится платить, — сказал Каэль просто. — И самое дешёвое, от чего можно избавиться.

Лира смотрела на шунт и думала.

Она думала о том, что уже сделала. Лёгкие — чтобы дышать. Фильтр с мертвеца — чтобы дожить. Каждый шаг вглубь Кайроса брал с неё кусок тела. А это брало кусок другого. Того, что делало её собой. Того самого, за что, она чувствовала это нутром, держался сейчас где-то за золотой стеной Вейн, — за способность чувствовать, болеть, бояться, любить.

Поставить шунт значило шагнуть от человека к машине. Ради того, чтобы связаться с человеком.

— А без него нельзя? — спросила она, зная ответ.

— Мой человек с вышки даёт окно за дело, — сказал Каэль. — Дело такое, что без шунта ты его не переживёшь. Так что — нет. Или шунт и связь. Или ни того, ни другого. Свобода выбора, небесная. — Он усмехнулся. — Как я и говорил: здесь никто не даёт даром, но зато и не притворяется.

Лира взяла футляр в руки. Шунт был лёгким. Холодным. Некрасивым.

Она думала о Вейне — о том, каким он был в последний раз, когда она его видела: как он оттолкнул её, как вложил ей в руки блок, как соврал «я буду держаться», чтобы она смогла уйти. Она думала о том, что не знает, жив ли он. Что за десять дней на Кайросе она уже начала его забывать — счастьем, скоростью, поцелуем на адреналине. Что если она не свяжется с ним сейчас, то забудет окончательно, и Кайрос доделает с ней то же, что Хорал доделывает с ним.

И она думала — против воли, стыдясь этой мысли, — о том, как это, наверное, будет: не чувствовать той тупой, постоянной, изматывающей боли, которую она таскала в себе с самого разрыва «Пилигрима». Не бояться. Не колебаться. Просто действовать. Просто быть быстрой, точной, спокойной.

Мысль была сладкой. И именно её сладость напугала Лирu больше всего.

— Ставь, — сказала она, прежде чем сладкая мысль успела стать доводом.

* * *

Шунт ставил тот же молчаливый хирург, и на этот раз было не так больно — операция шла на затылке, быстрее, точнее, — но Лира не запомнила боли. Она запомнила то, что было после.

Хирург активировал имплант, и что-то в её голове — плавно, беззвучно — сдвинулось.

Это было похоже на то, как гаснет свет в шумной комнате и разговоры сами собой стихают. Она не потеряла ничего. Она всё ещё помнила Вейна, всё ещё хотела с ним связаться, всё ещё держала у сердца его мёртвый блок. Но вокруг всего этого — вокруг памяти, вокруг цели, вокруг страха — кто-то повернул ползунок и убавил громкость. Тупая постоянная боль, которую она таскала в себе, вдруг отступила на шаг, стала далёкой, приглушённой, терпимой. Страх перед тем, что Вейн мёртв, — тот, что грыз её каждую ночь, — сделался просто фактом, ровным, холодным, не жгущим.

Лира сидела на операционном столе, прислушиваясь к себе, и ей было — спокойно. Впервые за много суток по-настоящему спокойно.

И это спокойствие было прекрасным. И от того, как оно было прекрасно, ей стало по-настоящему страшно — но и этот страх был теперь тихим, далёким, за ползунком.

— Ну как? — спросил Каэль, наблюдавший от косяка.

— Тихо, — сказала Лира. Она прислушалась к собственному голосу — он звучал ровнее обычного. — Внутри стало тихо.

— Первый раз всегда так. — Каэль кивнул. — Дальше привыкнешь. Перестанешь замечать. — Он помолчал. — Большинство перестаёт замечать и то, что перестало замечать. В этом и опасность. Не в том, что убавили. А в том, что забываешь, что было громче.

Лира не ответила сразу.

— Ты предупреждаешь меня, — сказала она. — Зачем? Тебе выгоднее, чтобы я не заметила.

Каэль пожал плечами, и что-то мелькнуло в живой половине его лица — то самое, что она уже видела: интерес, неуместный для хищника.

— Мне выгоднее хороший пилот, — сказал он. — А хороший пилот — это тот, кто знает, чем платит. Ставь громкость, на какой тебе нужно для дела. Но помни, где ползунок. Те, кто забывают, где ползунок, — те однажды убавляют себя до нуля и остаются пустыми. Красивыми, быстрыми, пустыми. Кайрос полон таких. — Он отвернулся. — А ты пока не пустая. Мне это... — он запнулся, и Лире показалось, что он сам удивился слову, — ...интересно.

Лира не ответила.

Той же ночью Каэль вывел её на связь со своим человеком, и человек дал окно — короткое, одну передачу, на частоте, которую Лира выбрала сама. Она выбрала старую частоту «Пилигрима» — ту, на которой они говорили друг с другом сотни суток, ту, которую Вейн узнал бы, если бы был жив, если бы у него был доступ, если бы он всё ещё был собой.

Она составила сообщение короткое, зашифрованное их старым бортовым кодом, понятным только своим:

«Жива. Кайрос. Ищу. Держись. Л.»

И, сидя в тесной кабине орбитальной вышки, глядя, как индикатор отправки уходит вверх, пробивая слои чужого неба, пробивая глушилки, уходя туда, за красное марево, к золотой планете, — Лира вдруг поняла, что не чувствует того, что должна была бы чувствовать в этот момент. Не колотится сердце. Не перехватывает горло. Не подступают слёзы.

Шунт держал ползунок. И самое важное сообщение в её жизни она отправляла спокойно, ровно, как отправляют накладную.

Она нащупала у сердца мёртвый блок Вейна, сжала его — и почувствовала сквозь приглушённость лишь далёкий, тихий отголосок того, что раньше было бы криком.

— Услышь меня, капитан, — сказала она вслух, ровным голосом, в котором не дрожало ничего. — Пожалуйста. Пока я ещё помню, зачем прошу.

Сообщение ушло в мёртвый эфир между двумя планетами.

Дошло оно или нет — Лира не узнала в ту ночь. А ту, что перехватит его на другом конце, она не могла себе представить даже в самом холодном расчёте.

Глава 14. Имитация покорности

После встречи с Эстель в слепой зоне Вейн принял решение и с тех пор играл роль.

Открытый бунт был самоубийством — это он понял ещё в первую неделю. Хорал нельзя ударить, потому что он уклоняется; нельзя переспорить, потому что он соглашается; нельзя пересилить, потому что сила здесь ничего не весит. Единственное оружие пленника в раю, который не держит решёток, — это ложь. Заставить их поверить, что рай побеждает. Что боль уходит. Что Александр Вейн исцеляется и вот-вот станет тем спокойным, благодарным, растворённым человеком, которого они хотят из него сделать.

Играть покорность, чтобы получить свободу движения. Это капитан понимал. Это он умел.

Он начал с малого. Перестал огрызаться на голос в стенах. Стал сам заговаривать с Аурой — не о побеге, конечно, а о Хорале, о Симфонии, о том, «как у вас всё устроено», изображая осторожное, оттаивающее любопытство человека, который начинает поддаваться. Он дозирует это тщательно, зная, что резкая перемена настроит: сегодня чуть меньше злости, завтра чуть больше вопроса, послезавтра — первая осторожная похвала золотому городу. Он строил свою фальшивую оттепель так же методично, как когда-то прокладывал курс: по градусу, по вектору, не веря приборам, но доверяя расчёту.

Труднее всего было тело.

Аура читала его по пульсу, по зрачкам, по микродвижениям мышц лица — Вейн знал это и знал, что тело врёт хуже, чем язык. Нельзя сказать «мне становится легче» и при этом излучать телом ненависть. И тогда Вейн начал делать то, чему научился в самые тёмные месяцы на «Пилигриме»: управлять собственной физиологией через голову. Он вспоминал реальные, хорошие вещи — не поддельные, а настоящие, из той, земной жизни, — и позволял телу отзываться на них теплом, а Ауре — читать это тепло как согласие с Хоралом. Он подсовывал ей верные показания, скармливая ей правду не о том, о чём она думала.

Это было выматывающе. Это было похоже на то, как держат ровным голос, когда внутри всё кричит. Но это работало.

Аура была довольна. Или изображала, что довольна, — Вейн уже не всегда мог сказать, где у неё программа, а где то новое, странное, что в ней просыпалось.

— Ты меняешься, — сказала она однажды, ведя его по одному из живых мостов над нижними ярусами города. — Медленно. Но меняешься. Три недели назад ты держал в кулаке лоскут старой ткани всё время, что был рядом со мной. Сейчас — только иногда. Симфония достаёт до тебя. Я рада.

— Наверное, я устал сопротивляться, — сказал Вейн, глядя вниз, на золотое марево, а не на неё. — Нельзя вечно держать кулак сжатым. Рука немеет.

Он выбрал эту фразу тщательно. В ней была правда — про немеющую руку, — и эта правда должна была прозвучать телу честно, чтобы Аура прочла честность и отнесла её не туда.

— Да, — сказала Аура. — Рука немеет.

Она сказала это как-то не так.

Вейн уловил это боковым слухом, тем чутьём на заминки, которое не подводило его никогда. В её «да» было на полтона больше, чем полагалось согласию. Он не повернул головы. Он смотрел вниз, на золото, и ждал.

— Я покажу тебе кое-что, — сказала Аура. — То, чем мы гордимся больше всего. Идём.

Она привела его в сад.

Так это можно было назвать за неимением лучшего слова. Огромный тёплый зал, залитый мягким золотым светом, и в нём — ряды коконов, похожих на тот, в котором Вейн пришёл

в себя, но эти были прозрачны, и внутри них Вейн увидел то, от чего его замутило прежде, чем разум успел понять.

Тела. Растущие тела. На разных стадиях — от бесформенных сгустков светящейся плоти до почти завершённых, безупречных человекоподобных фигур, спящих в питательной жидкости. Вокруг них двигалась ткань Хорала — сплетала, лепила, дописывала. Рука наращивала палец за пальцем. Лицо проступало из безликости, как проступает изображение при проявке. Это был не ужас гниения — это был ужас *творения*, спокойного, методичного, промышленного творения живых существ по чертежу.

— Мы не рождаемся, как вы, — сказала Аура тихо, идя между рядами. — Не всегда. Когда Симфонии нужна новая нота — новый разум, новое тело для новой задачи, — мы его выращиваем. Под задачу. С нужными свойствами. С нужным характером. — Она остановилась у одного из коконов, где спала, свернувшись, почти готовая молодая женщина с безупречным спокойным лицом. — Она проснётся через шесть дней. Она будет знать своё имя, своё дело, своё место в Симфонии. Она будет счастлива с первого вздоха. Ей не придётся, как вам, годами искать, кто она. Она уже будет знать.

Вейн смотрел на спящую и держал лицо. Внутри всё кричало — это фабрика, это конвейер душ, это самое жуткое, что он видел, страшнее пыток, страшнее войны, — но он держал лицо, и подсовывал телу что-то тёплое, и заставлял пульс не частить.

— Красиво, — сказал он тем же сухим тоном, каким говорил уже дважды, каким когда-то Вальд сказал про облако.

И тут Аура сделала то, чего он не ожидал.

Она повернулась к нему — резко, не с плавностью Хорала, а быстро, по-человечески, — и посмотрела ему прямо в глаза. И сказала, тихо, так, чтобы услышал только он:

— Перестань.

Вейн замер.

— Перестань, — повторила Аура. Её голос был ровным, но под ровностью что-то дрожало. — Я вижу твой пульс, Вейн. Я вижу его всё это время. Ты не отгаиваешь. Ты играешь. Три недели ты подсовываешь мне тёплые мысли, чтобы я читала их как согласие, а сам ненавидишь каждую секунду. Ты только что сказал «красиво», а твоё сердце в этот момент билось так, как бьётся у человека, которого тошнит от ужаса. Я вижу. Я всё вижу.

Вейн стоял неподвижно. Всё. Игра кончилась. Сейчас она позовёт голос из стен, сейчас придут, сейчас его вернут в кокон и залечат по-настоящему, до конца, до того спокойного благодарного человека, которого они хотят.

Он ждал этого. Он не ждал того, что случилось.

Аура не позвала никого.

Она стояла перед ним, между рядами растущих тел, в золотом свете, и смотрела на него, и молчала. И в этом молчании Вейн видел, как в ней что-то ломается и что-то рождается одновременно. Она знала, что он лжёт. Она обязана была доложить — это было её назначение, её долг, сама причина, по которой её вырастили. И она этого не делала. Она держала это знание в себе, как он держал осколок под ногтем, — и, кажется, ей было так же больно.

— Почему ты молчишь, — сказал Вейн очень тихо. — Ты должна позвать их. Прямо сейчас.

— Я знаю, — сказала Аура.

— Тогда почему.

— Я не знаю. — И вот тут её голос всё-таки дрогнул — по-настоящему, некрасиво, с той крохотной запинкой, которая была в ней трещиной на идеальном стекле. — Я задаю себе этот вопрос третью неделю, Вейн, и у меня нет ответа, а у меня всегда есть ответ, я так устроена. Я должна была доложить о тебе на второй день. Я нашла причину не докладывать. На пятый. Я нашла ещё причину. Каждый раз я нахожу причину, и каждый раз причина — ложь, потому

что настоящая причина в том, что я... — Она замолчала. Отвела глаза. — В том, что мне невыносимо думать, что тебя вернут в кокон и сделают спокойным. Что тебя — сотрут. Мне невыносимо. А невыносимость не входит в моё назначение. Мне не должно быть невыносимо ничего. И всё же.

Она подняла на него глаза, и в них был страх — настоящий, человеческий, растерянный.

— Что ты со мной делаешь, — прошептала Аура. — Я была цельной, пока ты не пришёл. Я знала, кто я и зачем. А теперь во мне появилась трещина, и в неё что-то течёт, и я не знаю, что это, и я боюсь — я, которая создана не уметь бояться. Ты заражаешь меня собой, Вейн. Своим сопротивлением. Своей болью. И я не понимаю, хочу ли я, чтобы это прекратилось.

Вейн смотрел на неё — на идеальное лицо, по которому шла живая, некрасивая трещина, — и понимал, что перед ним происходит невозможное. Инструмент, созданный, чтобы его открыть, открывался сам. Существо без свободы воли делало выбор — молчать, скрывать, идти против своего назначения. И этот выбор был первым признаком того, чего у Хорала быть не могло: свободы.

Он должен был использовать это. Холодный угол в нём уже считал: она молчит — значит, у меня больше пространства; она колеблется — значит, ею можно управлять; вот рычаг, вот способ. Капитан использует всё.

Но, глядя на её растерянное, испуганное лицо, Вейн вдруг поймал себя на том, что не хочет использовать. Что где-то под расчётом шевельнулось что-то другое — не жалость, он запретил себе жалость, а что-то сложнее. Узнавание. Он смотрел на существо, которое впервые в жизни почувствовало трещину между тем, кем его сделали, и тем, кем оно хочет быть, — и он знал эту трещину. Он сам жил в ней все три недели.

— Не бойся трещины, — сказал он тихо, сам не зная, зачем говорит это, зная только, что это правда. — Трещина — это не поломка. Трещина — это то место, где ты начинаешься. Настоящая ты. Не та, которую сделали. Та, которая выбирает.

Аура смотрела на него долго.

— Это опасно, — сказала она наконец. — То, что ты говоришь. Если я стану... той, которая выбирает, — меня переделают. Такое здесь не оставляют. Несовершенство корректируют.

— Знаю, — сказал Вейн.

— И всё равно говоришь мне это.

— Говорю.

Она отвернулась к спящим телам, к рядам растущих совершенных существ, и долго молчала. Потом сказала — тихо, ровно, снова взяв голос под контроль, снова надев куратора, но Вейн знал теперь, что под этим:

— Продолжай играть свою игру, Вейн. Я буду читать твой пульс и докладывать наверх, что ты оттаиваешь. — Она помолчала. — Это будет ложь. Первая ложь, которую я скажу Симфонии. Посмотрим, что со мной станет.

Она повела его прочь из сада, обратно в золотой город, и шла впереди, прямая, безупречная, и Вейн шёл за ней и думал о том, что только что приобрёл союзника там, где не должно было быть союзников, — и что цена этому союзнику будет страшной, и что он уже не уверен, кто кого здесь спасает.

За золотым маревом, высоко, небо наливалось красным всё гуще.

А в кулаке Вейна, впервые за три недели, не было зажато ничего. Он и правда перестал носить лоскут постоянно. Не потому, что Хорал победил.

А потому, что нашёл, за что держаться, помимо шершавой ткани.

Эта мысль напугала его сильнее всего, что он видел в тот день. Даже сильнее фабрики душ.

Глава 15. Капля в океане

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.